Василий Шукшин

Характеры





РАССКАЗЫ

«СОВРЕМЕННИК» • МОСКВА • 1973

Р2
Ш95

Каждую новую книгу Василия Шукшина — лауреата Государственной премии СССР, писателя, кинодраматурга, режиссера и актера — читатель встречает с неподдельным интересом. Герои его рассказов — люди нелегкой судьбы и сложных характеров. Они страстно и настойчиво стремятся постигнуть суть собственной души, смысл жизни.

В рассказах, публикуемых в этой книге, автор пристрастно и взыскательно прослеживает людские судьбы. Герои Шукшина — рабочие, плотники, шоферы, колхозники — люди с чистой душой, требовательные к себе и к окружающим. Они обеспокоены поисками добра, справедливости. Их излишняя, на первый взгляд, совестливость продиктована искренней добротой, нерастраченной щедростью сердца, желанием сделать жизнь лучше, светлее. В. Шукшин — своеобразный художник с яркими, зримыми примерами писательской индивидуальности. Он умеет рисовать живые, неповторимые характеры своих соотечественников, язык его рассказов сочный, образный.

Ш $\frac{0732—109}{106\ (03)—73}$ 19—72

СРЕЗАЛ

К старухе Агафье Журавлевой приехал проведать, отдохнуть сын Константин Иванович, с женой и дочерью.

Деревня Новая — небольшая, и когда Константин Иванович подкатил на такси, сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, ученый.

К вечеру стали известны подробности: он сам — кандидат наук, жена тоже кандидат, дочь школьница, Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.

Вечером у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали хозяина.



Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали.

Глеб Капустин, толстогубый, белобрысый мужик лет сорока, деревенский краснобай, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, корреспондент... И вот теперь Журавлев — кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ — слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался, — тогда-то Глеб Капустин приходил и *срезал* гостя. Многие этим были недовольны, но некоторые мужики ждали, когда Глеб Капустин придет и срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж вместе — к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось, что полковник не знает, кто велел поджечь Москву. Точнее, он сказал, что какой-то граф, но фамилии перепутал, назвал — Распутин. Глеб коршуном взмыл над полковником... И срезал. Пока бегали к учительнице домой — узнавать фамилию графа, — Глеб сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался победителем; полковник очень расстроился, бил себя кулаком по голове и недоумевал.

Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях». Старики интересовались — почему он так говорил: «Мы же не в Филях».

Глеб посмеивался и как-то мстительно щурил глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба.

Опасались. И вот теперь приехал кандидат Журавлев...

Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся... Ужинать не стал. Вышел к мужикам на крыльцо.

Закурили... Малость поговорили о том, о сем — нарочно не о Журавлеве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлевой. Спросил:

— Гости к бабке Агафье приехали?

— Кандидаты!

— Кандидаты? — удивленно протянул Глеб. — О-о!.. Голой рукой не возьмешь.

Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривали с нетерпением на Глеба.

— Ну, пошли попроведаем кандидатов, — предложил Глеб.

Глеб шел несколько впереди остальных, руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи. Получалось, со стороны, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился силач.

— В какой области кандидаты? — дорогой спросил Глеб.

— По какой специальности? А черт его знает... Сказывают — кандидаты. И он, и жена...

— Есть кандидаты технических наук, есть — общеобразовательные, эти, в основном, трепологией занимаются.

— Костя, вообще-то, в математике рубил хорошо, — вспомнил кто-то, кто учился с Костей в школе. — Пятерошник был.

Глеб был родом из соседней деревни и здешних людей знал мало.

— Посмотрим, посмотрим, — неопределенно пообещал Глеб. — Кандидатов сейчас — как нерезаных собак.

— На такси приехал...

— Ну, марку-то надо поддержать! — усмехнулся Глеб. — Пишется Ливерпуль, а читается — Манчестер. Мы все учились понемногу!..

Константин Иванович встретил гостей радушно, захлопотал насчет стола... Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе...

— Эх, детство, детство! — с грустинкой воскликнул кандидат. — Ну, садитесь за стол, друзья, — радушно пригласил он.

Все сели за стол. Глеб пока помалкивал, но — видно было — подбирался к прыжку. Он поддакнул тоже насчет детства, а сам оценивающе взглядывал на кандидата — примеривался.

За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба... И тут он пошел в атаку на кандидата.

— В какой области выявляете себя? — спросил он.

— Где работаю, что ли?

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем...

— Необходимая вещь. — Глебу нужно было, чтоб была — философия. Он оживился. — Ну, и как насчет первичности?

— Какой первичности? — не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба.

— Первичности духа и материи. — Глеб бросил перчатку.

Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда, — сказал он с улыбкой. — Материя первична...

— А дух?

— А дух? — вторичен. А что?

— Это входит в минимум? Вы извините, мы тут...

далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься — не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла. Почему — сейчас?

— Но явление-то открыто недавно, поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит так, стратегическая философия — совершенно иначе...

— Да нет такой философии — стратегической! — усмехнулся кандидат.

— Допустим, но есть диалектика природы, — при общем внимании продолжал Глеб. — А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат расхохотался. Но смеялся он один... И почувствовал неловкость. Позвал жену:

— Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу. Константин Иванович чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.

— Давайте установим, — серьезно заговорил кандидат, — о чем мы говорим? Каков предмет нашей беседы?

— Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?

Кандидаты засмеялись. Глеб терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются.

— Можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы — нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами... — Глеб иронично улыбнулся. — Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать. Верно?

— Вы серьезно все это? — удивленно спросила Валя.

— С вашего позволения. — Глеб привстал и сдержанно поклонился. — Вопрос, конечно, не глобальный,

но с точки зрения нашего брата — было бы интересно узнать...

— Да какой вопрос-то?! — нетерпеливо воскликнул кандидат.

— Твое отношение к проблеме шаманизма. — Валя невольно засмеялась. Но спохватилась и сказала Глебу: — Извините, пожалуйста.

— Ничего, — сказал Глеб. — Я понимаю, что, может, не по специальности задал вопрос.

— Да нет такой проблемы! — сплеча рубанул кандидат.

Теперь засмеялся Глеб. И подытожил:

— Ну, на нет и суда нет! Баба с возу — коню легче,— добавил Глеб.— Проблемы нету, а эти... — Глеб показал руками что-то замысловатое, — танцуют, звеняг бубенчиками... Да? Но при желании... — Глеб повторил: — При же-ла-нии — их как бы нету. Потому что если... Хорошо! Еще один вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна — тоже дело рук разума? Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите, допускается, что внутри живут разумные существа...

Кандидат пристально, изучающе смотрел на Глеба.

— Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?

Мужики внимательно слушали Глеба.

— Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержут и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга?

— Вы кого спрашиваете?

— Вас, мыслителей...

— А вы готовы?

— Мы — не мыслители, у нас зарплата не та. Но

если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо... Что прикажете делать? Лаять по-собачьи? Петухом петь?

Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять внимательно уставились на Глеба.

— Но нам тем не менее надо понять друг друга. Верно? Как? — Глеб сделал паузу, помолчал вопросительно. — Я предлагаю: начертить на песке схему нашей солнечной системы и показать ему, что я — с Земли, мол. Что, несмотря на то что я в скафандре, у меня тоже есть голова и я тоже разумное существо. В подтверждение этого можно показать ему на схеме — откуда он: показать на Луну, потом на него. Логично? Мы, таким образом, выяснили, что мы — соседи. Но не больше того! Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе...

— Так, так... — Кандидат многозначительно посмотрел на жену.

И зря, потому что его взгляд был перехвачен, Глеб взмыл ввысь... Всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент — когда Глеб взмывал кверху. Он, наверно, всегда ждал такого момента, радовался ему.

— Приглашаете жену посмеяться? — спросил Глеб. Спросил внешне спокойно, но внутри у него все вздрагивало. — Хорошее дело... Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает...

— Послушайте!..

— Да мы уж послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, товарищ кандидат, что кандидатство — это ведь не костюм, который купил — раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы до-

говорились, что это не костюм, тем более надо... поддерживать. — Глеб говорил негромко, назидательно, без передышки — его несло. На кандидата было неловко смотреть: он явно растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков... Мужики старались не смотреть на него. — Нас, конечно, можно тут удивить: подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов...

Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели — и кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не так больно.

— Это называется «покатил бочку», — сказал кандидат. — Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно...

— Не знаю, не знаю, — торопливо перебил его Глеб, — не знаю, как это называется — я в лагере не сидел. В свои лезете? Тут, — оглядел Глеб мужиков, — тоже никто не сидел — не поймут. А вот жена ваша сделала удивленные глаза на вас... А там дочка услышит. Услышит и «покатит бочку» в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не «катили бочку» на профессора. Верно? — Глеб встал. — «И одеяло на себя не тянули». И «по фене не ботали». Потому что профессоров надо уважать — от них судьба зависит, а от нас судьба не зависит, с нами можно «по фене ботать». Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко... «микитим». И газеты тоже читаем, и книги, случается, почитываем... И телевизор даже смот-

рим. И, представьте себе, не приходим в бурный восторг ни от КВНа, ни от «кабачка тринадцать стульев». Спросите: почему? Потому что там — та же самонадеянность. И гонора — на пятерых Чаплиных. Скромней надо.

— Типичный демагог-кляузник! — возмущенно сказал кандидат, обращаясь к ж е н е . — Весь набор фраз, все приемы и ухватки...

— Не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал. — Глеб посмотрел на мужиков: мужики знали, что это — правда. — Не то, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?

— Ну-ну...

— Люблю по носу щелкнуть — не задирайся выше ватерлинии! Скромней, скромней надо, дорогие товарищи...

— Да в чем же вы увидели нашу нескромность? — не вытерпела В а л я . — В чем она выразилась-то?!

— А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте, и поймете. Можно ведь сто раз повторить слово «мед», но от этого во рту не станет сладко. Чтобы понять это, не надо кандидатский минимум сдавать. Верно? Можно сотни раз писать в разных статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. И ближе к этому самому народу вы не станете. Так что когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней. Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свиданья. Приятно провести отпуск... среди н а р о д а . — Глеб победно усмехнулся и вышел из избы. Он всегда так уходил.

Он не слышал, как потом мужики, расходясь, говорили:

— Оттянул он его!.. Дошлый, собака. Откуда он про Луну-то все знает?

— Срезал.

— Срезал... Откуда что берется!

И мужики изумленно качали головами.

— Дошлый, собака. Причесал Константина Иваныча... Как миленького причесал! А эта-то, Валя-то, даже рта не открыла.

— А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Костя-то, мог, конечно, сказать... А тот ему на одно слово — пять.

В голосе мужиков слышалось даже как бы сочувствие. Глеб же их по-прежнему неизменно удивлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб — жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще.

Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим с ухмылкой опросит мужиков:

— Ну, как там кандидат-то?

— Срезал ты его, — скажут Глебу.

— Ничего, — великодушно заметит Глеб. — Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя.

МОЙ ЗЯТЬ УКРАЛ МАШИНУ ДРОВ!

Веня Зблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей.

Веня приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копились ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала себе на шубу из искусственного каракуля. Соня объяснила так:

— Понимаешь, выбросили — все стали хватать... Ну, я подумала, подумала — и тоже взяла. Ничего, Вень?

— Взяла? — Веня зло сморщился. — Хорошо, хоть сперва подумала, потом уж взяла. — Венина мечта — когда-нибудь надеть кожанку и пройтись в выходной день по селу в ней нараспашку — отодвинулась далеко. — Спасибо. Подумала об муже... твою мать-то.



— Чего ты?

— Ничего, все нормально. Спасибо, говорю.

— Чего лаешься-то?

— Кто лается? Я говорю, все нормально! Ты же вон какая оборванная ходишь, надо, конечно, шубу... Вы же без шубы не можете. Как это вам без шубы можно!.. Дармоеды.

Соня, круглолицая, толстомясая, побежала к матери жаловаться.

— Мам, ты гляди-ка, што он вытворяет — за шубу-то начал обзывать по-всякому! — Соне тридцать уже, а она все, как маленькая, бегала к маме жаловаться. — Дармоеды, говорит!

Из горницы вышла теща, тоже круглолицая, шестидесятилетняя, крепкая здоровьем, крепкая нравом, взглядом на жизнь, — вообще, вся очень крепкая.

— Ты что это, Вениамин? — сказала она с укоризной. — Другой бы муж радовался...

— А я радуюсь! Я до того рад, что хоть впору заголиться да улочки две дать по селу — от радости.

— Если недопонимаешь, то слушай, што говорят! — повысила голос теща. — Красивая, нарядная жена украшает мужа. А уж тебе-то надо об этом подумать — не красавец.

Веня в самом деле не был красавцем (маловат ростом, худой, белобрысый... И вдобавок хромой: подростком был прицепщиком, задремал ночью на прицепе, свалился в борозду, и его шаркнуло плугом по ноге), и когда ему напоминали об этом — что не красавец, — Веню трясло от негодования.

— Ну да, вы-то, конечно, понимаете, как надо украшать людей! Вы уж двух украсили... — И тесть Вени, и бывший муж Сони — сидели. Тесть — за растрату, муж Сони — за пьяную драку. Слушок по селу ходил — Лизавета Васильевна, теща, помогла посадить и мужа и зятя.

— Молчать! — строго осадила Лизавета Васильевна. — А то договоришься у меня!.. Молокосос. Сопляк.

Веня взмыл над землей от ярости... И сверху, с высоты, скружил ястребом на тещу.

— А ты чего это голос-то повышаешь?! Ты чего тут голос-то повышаешь?! Курва старая...

Соня еще не поняла, что за это можно сажать. Она только очень обиделась за мать.

— Ох, молодой!.. — воскликнула она. — Да тебе двадцать восемь, а от тебя уж козлиным потом пахнет.

Теща, напротив, поняла, что за это уже можно сажать.

— Так... Как ты сказал? Курва? Хорошо! Курва?.. Хорошо. При свидетелях. — Она побежала в горницу — писать заявление в милицию. — Ты у меня получишь за курву! — громко, с дрожью в голосе говорила она оттуда. — Ты у меня получишь!..

— Давай, давай, пиши, тебе не привыкать. — Веня слегка струсил вообще-то. Черт ее знает, она со всем районным начальством в знакомстве. — Тебе посадить человека — раз плюнуть.

— Я первые колхозы создавала, а ты мне — курва! — громко закричала теща, появляясь в дверях.

— А про меня в газете писали, што я, хромой, — на машине работаю! — тоже закричал Веня. И постучал себя в грудь кулаком. — У меня пятнадцать лет трудового стажу!

— Ничего, он тебе там пригодится.

Веню опять взорвало, он забыл страх.

— Где это там?! Где там-то, курва? Ты сперва посади!.. Потом уж я буду думать, где мне пригодится, а где не пригодится. Сажалка...

— Поса-адим, — опять с дрожью в голосе пообещала теща. И ушла писать заявление. Но тотчас опять вернулась и закричала: — Ты машину дров привез?! Ты где ее взял?! Где взял?!

— Тебя же согревать привез...

— Где взял?! — изо всех сил кричала Лизавета Васильевна.

— Купил!

— На какие деньги? Ты всю получку домой отдал! Ты их в государственном лесу бесплатно нарубил! Ты машину дров украл!

— Ладно, допустим. А чего же ты сразу не заявила? Чего ж ты — жгла эти дрова и помалкивала?

— Я только сейчас это поняла — с кем мы живем под одной крышей.

— Э-э... завиляла хвостом-то. Если уж садиться, так вместе сядем: я своровал, а ты пользовалась ворованным. Мне — три года, тебе — полтора, как минимум. Вот так. Мы тоже законы знаем.

— Не-ет, ты их еще пока не знаешь!.. Вот посидишь там, тогда узнаешь.

Теща в самом деле ездила с заявлением в район, в милицию. Но про машину дров, как видно, не сказала. Ей там посоветовали обратиться с жалобой в дирекцию совхоза, так как налицо пока что — домашняя склока, не больше. Нельзя же, в самом деле, сразу, по первому же заявлению, привлекать человека к уголовной ответственности. Вот если это повторится, и если он будет в пьяном виде... Лизавета Васильевна побежала в дирекцию.

Веню вызвали.

Перед заместителем директора, молодым еще человеком, которого Веня уважал за башковитость, лежало заявление тещи.

— Ну, что там у вас случилось? Жалуются вот...

— Жалуются!.. Сами одетые, как эти... все есть! — стал честно рассказывать Веня. — А у меня — вот што на мне, то и все тут. Хотел раз в жизни кожан купить за сто шестьдесят рублей, накопили, а она себе взяла шубу купила. А у самой зимнее пальто есть хорошее.

— Ну, а обзывал-то зачем? Матерился-то зачем?

— Тут любого злость возьмет! Копил, копил, елки зеленые!.. после бани четверку жадничал выпить, а она взяла шубу купила! И, главное, пальто же есть! Если бы хоть не было, а то ведь пальто есть! А чего она гут пишет?

— Да пишет... много пишет.

Тут-то понял Веня, что про машину дров теща умолчала.

— Пишет, што она коллективизацию делала?

— Ну, пишет... Ты все-таки это... не надо — пожилой человек... Ну, купила! Она же тоже работает, жена-то.

— Она шестьдесят рублей приносит, в тепле посиживает, а я, самое малое, сто двадцать — выше нормы вкалываю. Да мне не жалко! Но хоть один-то раз надо же и мне тоже чего-нибудь взять! Они бы хоть носили! А то купят — и в сундук. А тут... на люди стыд показаться.

Замдиректора не знал, что делать. Он верил, Венина правда — вся тут.

— Все равно не надо, Вениамин. Ведь этим же ничего не докажешь. Поговори с женой... Что она? Поймет же она — молодая женщина...

— Да она-то што!.. Она голоса не имеет. Там эта вот, — Веня кивнул на заявление, — всем заправляет.

В общем, поговорили в таком духе, и Веня вышел из конторы с легкой душой. Но обида и злость на тещу не убавилась, нет.

«Вот же ж т в а р ь, — думал о н, . — посадит и глазом не моргнет. Сколько злости в человеке! Всю жизнь жила, и всю жизнь злилась. Курва... На какой черт тогда и родиться такой?»

Тут встретился ему — не то что дружок — хороший товарищ Колька Волобуев.

— Чего такой? — Колька как-то странно всегда го-

ворит — почти не раскрывая рта. И смотрит на всех снисходительно, чуть сощурив глаза. Характер у парня.

— Какой?

— Какой-то... как воробей подстреленный. Откуда прыгаешь-то?

— Из конторы. — И Веня все рассказал — как он умылся с кожаном, как поскандалил дома и как его теща хотела посадить.

— Двух сожрала — мало,— процедил Колька. — Пошли выпьем.

Веня с удовольствием пошел.

Когда выпили, Колька, прищурив холодновато-серые глаза, стал учить Веню:

— Вливание надо делать. Только следов не оставляй. А то они заклюют тебя. Старуха полезет, шугани старуху разок-другой... А то они совсем на тебя верхом сядут. Как ишак работаешь на них...

У Вени мстительно взыграла душа... Вспомнились разом все обиды, какие нанесла ему Соня: как долго не хотела выходить за него, как манежила и изводила у своих ворот: ни «да», ни «нет», как... Нет, надо, в самом деле, все поставить на свое место. Какой он, к черту, хозяин в доме! Ишак, правильно Колька сказал.

— Пойду сала под кожу кое-кому залью, — сказал он. И скоро похромал домой. И нес в груди тяжелое, злое чувство.

«Нашли дурачка!.. Сволочи. Еще по милициям бегает! Курва».

Сони не было дома.

— А где она? — спросил Веня.

— А я откуда знаю, — буркнула теща. Уборщица из конторы успела сообщить ей, что Веню особенно-то и не ругали. (Странное дело: Лизавета Васильевна пять лет как уже не работала, а иные с ней считались, бегали наушничать, даже побаивались.) — Она мне не докладает.

— Разговорчики! — прикрикнул Веня с порога. — Слишком много болтаем!

Лизавета Васильевна удивленно посмотрела на зятя:

— Что такое? Ты, никак, выпил?

Вене пришла в голову занятная мысль. Он вышел во двор, нашел в сарае молоток, с десяток больших гвоздей... Положил это все в карман и вошел снова в дом.

— Что там за материал лежит? — спросил он миролюбиво.

— Какой материал? Где? — живо заинтересовалась теща.

— Да в уборной... Подоткнут сверху. Красный.

Теща поспешила в уборную. Веня — за ней.

Едва теща зашла в уборную, Веня запер ее снаружи на крючок. Потом стал заколачивать дверь гвоздями.

Теща закричала.

— Посиди малость, подумай, — приговаривал Веня. — Сама любишь людей сажать? Теперь маленько спробуй на своей шкуре. — Вогнал все гвозди и сел на крыльцо поджидать Соню.

— Карау-ул!! — вопила Лизавета Васильевна. — Люди добрые, спасите! Спасите! Люди добрые!.. Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! — наладилась теща.

Веня пригрозил:

— Будешь орать — подожгу.

Теща замолчала. Только всхлипнула:

— Ну, Венька!..

— Угрожать?

— Я не угрожаю, ничего я не угрожаю, но спасибо тебе за это не скажут!

Вене попался на глаза кусок необожженной извести. Он поднял его и написал на двери уборной:

«Заплонбировано 25 июля 1969 г. Не кантавать».

— Ну, Венька!..

— Счас я еще Соню твою подожду... Счас она у меня будет пятый угол искать. В каракуле. Вы думали, я вам ишак бессловесный? Сколько я в дом получек перетаскал, а хоть один костюмишко мало мальский купили мне?

— Ты же пришел на все готовенькое.

— А если б я голый совсем пришел, я бы так и ходил голый? Неужели же я себе хоть на рубаху не заработал? Ты людей раскулачивала... Ты же сама первая кулачка! У тебя от добра сундуки ломаются.

— Не тобой нажито!

— А — тобой? Для кого мужик воровал-то? А когда он ненужен стал, ты его посадила. Вот теперь посиди сама. Будешь сидеть трое суток. Возьму ружье и никого не подпущу. Считай, что я тебя посадил в карцер. За плохое поведение.

— Ну, Венька!

— Вот так. И не ори, а то хуже будет.

— Над старухой так изгаляться!..

— Ты всю жизнь над людьми изгалялась — и молодая и старая.

Веня еще подождал Соню, не дождался, не утерпел — пошел искать ее по селу.

— Сиди у меня тихо! — велел теще.

В тот день Веня, к счастью, не нашел жену. Тещу выпустили из «карцера» соседи.

Суд был бурный. Он проходил в клубе — показательный.

Теща плакала на суде, опять говорила, что она создавала первые колхозы, рассказывала, какие она претерпела переживания, сидя в «карцере», — ей очень хотелось посадить Веню. Но сельчане протестовали. И старые и молодые говорили, что знают Веню с малых лет, что рос он сиротой, всегда был послушный, никого

никогда пальцем не трогал... Наказать, конечно, надо, но — не в тюрьму же! Хорошо, проникновенно сказал Михайло Кузнецов, старый солдат, степенный уважаемый человек, тоже давно пенсионер.

— Граждане судьи! — сказал он. — Я знал отца Венькиного — он пал смертью храбрых на поле брани. Мать Венькина надсадилась в колхозе — померла. Сам Венька с десяти лет пошел работать... А гражданка Киселева... она вот счас плачет: знамо, сидеть на старости лет в туалете — это никому не поглянется, — но все же она в своей жизни трудностей не знала. Да и теперь не знаешь — у тебя пенсия-то поболе моей, а я весь израненный, на трех войнах отломал...

— Я из бедняцкой семьи! — как-то даже с визгом воскликнула Лизавета Васильевна. — Я первые колхозы...

— И я тоже из бедняцкой, — возразил Михайло. — Ты первая организовала колхоз, а я первый пошел в него. Какая твоя особая заслуга перед обчеством? В войну ты была председателем сельпо — не голодала, это мы тоже знаем. А парень сам себя содержал, своим трудом... это надо ценить. Нельзя так. Посадить легко, каково сидеть!

— У него одних благодарностей штук десять! Его каждый праздник отмечают как передового труженика! — выкрикнули из зала.

Но тут встал из-за стола представительный мужчина, полный, в светлом костюме. Понимающе посмотрел в зал. Да как пошел, как пошел причесывать! Говорил, что преступление всегда — а в данном случае и полезней — лучше наказать малое, чем ждать большого. Приводил примеры, когда вот такие вот, на вид безобидные пареньки пускали в ход ножи...

— Где уверенность, я вас спрашиваю, что он, обозленный теперь, завтра снова не напьется и не возьмет в руки топор? Или ружье? В доме — две женщины. Представьте себе...

— Он не пьет!

— Это что он, после газировки взял молоток и заколотил тещу в уборной? Пожилую, заслуженную женщину! И за что? За то, что жена купила себе шубу, а ему, видите ли, не купили кожаное пальто!

Под Веней закачался стул. И многие в зале решили: сидеть Веньке в тюряге.

— Нет, товарищи, наша гуманность будет именно в том, что сейчас мы не оставим без последствия этот проступок обвиняемого. Лучше сейчас. Этим мы оградим его от большой опасности. А она явно подстерегает его.

Представительный мужчина предлагал дать Веньке три года.

Тут поднялся опять Михайло Кузнецов.

— Вы, товарищ, все совершенно правильно говорили. Но я вам приведу небольшой пример из Великой Отечественной войны. Был у нас солдатик, вроде Веньки — щупленький такой же, молодой — лет двадцати, наверно. Ну, пошли в атаку, и тот солдатик испужался... бросил винтовку, упал, обхватил, значит, руками голову... Политрук хотел под трибунал отдать, но мы, которые постарше солдаты, не дали. Подняли, он побежал с нами... И што вы думаете? Самолично, у всех на глазах заколол двух фашистов. И фашисты были — под потолок, рослые, а тот солдатик — забыл уж теперь, как его фамилия, — не больше Веньки. Откуда сила взялась! Я это к тому, што бывает — найдет на человека слабость, стихия — ну вроде пропал, совсем пропал человек... А тут, наоборот, не надо торопиться, он еще подымется. Вы сами-то воевали, товарищ? — спросил под конец Михайло.

Представительного мужчину ничуть не смутил такой разительный пример. Он понимающе улыбнулся.

— Я воевал, товарищ. Это на ваш вопрос. Теперь, что касается примера. Он... конечно, яркий, внушитель-

ный, но совершенно не к месту. Тут вы, как говорится, спутали божий дар с яичницей. — Представительный мужчина коротко посмеялся, чуть колыхнул солидным тугим животом. — На этом примере можно доказать совершенно противоположное тому, что вы тут хотели сказать. Кстати, его судили, того солдата?

Михайло не сразу ответил. Все даже повернулись в его сторону.

— Судили, — неохотно ответил Михайло. — Но...

— Совершенно верно. Но...

— Но оставили без последствия! — повысил голос Михайло. — Только перевели в другую часть.

— Это уже другой вопрос. То обстоятельство, что он поднялся и побежал с вами и потом заколол двух фашистов, — это факт, который говорит сам за себя, его можно учитывать, и, как видим, учли. Но есть факты, которые... материально, так сказать, учесть нельзя. Солдат испугался, бросил оружие, упал... Он — испугался, это понятно. Испугайся он один, в лесу, увидев медведя, — ну, тогда положись на волю божью, как говорят, точнее, на медвежью, задерет он тебя или не задерет? Но здесь — солдат, он шел в атаку не один, он испугался, он породил страх у всей роты!

— Ничего подобного! — сказал Михайло. — Как бежали, так и бежали!

— Вы бежали с другим настроением. Вы сами того не сознавали, но в вас уже жил страх. Струсивший солдат как бы дал вам понять, какая опасность вас ждет впереди, — возможно, смерть...

— А то мы без него не знали.

— Что же касается данного конкретного случая...

Венька не отрываясь смотрел на представительного мужчину, плохо понимал, что он говорит. Понимал только, что мужчина тоже очень хочет его посадить, хотя вовсе не злой, как теща, и первый раз в глаза увидел Веньку. Венька раньше никогда на судах не бывал,

не знал, что существуют государственные обвинители, общественные обвинители... Суд для него — это судья. И он никак не мог постичь, *зачем* надо этому человеку: во что бы то ни стало посадить его, Веньку, на три года в тюрьму? Судья молчит, а этот — в который уже раз — встает и говорит, что надо посадить, и все. Венька онемел от удивления. Когда его спросили, хочет ли дать суду какие-нибудь пояснения, Венька пожал плечами и как-то торопливо, испуганно возразил:

— Зачем?

Суд удалился на совещание.

Венька сидел. Ждал. Его сковал ужас... Не ужас перед тюрьмой: когда он шел сюда, он прикинул в уме: двадцать восемь плюс три, ну четыре — тридцать один — тридцать два... Ерунда. Его охватил ужас перед этим мужчиной. Он так в него всмотрелся, что и теперь, когда его уже не было за столом, видел его как живого: спокойный, умный, веселый... И доказывает, доказывает, доказывает — надо сажать. Это непостижимо. Как же он потом... ужинать будет, детишек ласкать, с женой спать?.. Раньше Веня часто злился на людей, но не боялся их, теперь он вдруг с ужасом понял, что они бывают — страшные. Один раз в жизни Веню били двое пьяных. Били и как-то подстанывали — от усердия, что ли. Веня долго потом с омерзением вспоминал не боль, а это вот тихое подстанывание после ударов. Но то были пьяные, безумные... Этот — представительный, образованный, вовсе не сердится, спокойно убеждает всех, надо сажать. О господи! Теща!.. Теща — змея и дура, она не три года, а готова пять выхлопотать для зятя, и это можно понять. Она такая — курва. Но этот-то!.. Как же так?

Вене вынесли приговор: два года условно.

За Веню радовались.

А Веня шел непривычно задумчивый... Все стоял в глазах тот представительный мужчина, и Венька все

не переставал изумляться... Неужели он все время так делает?

Жить пока Веня пошел к Кольке Волобуеву.

Колька опять предложил выпить, Веня отказался. Рано ушел в горницу, лег на лавку и все думал, думал.

Какая все-таки жизнь! — в один миг все сразу рухнуло. Да и пропади бы он пропадом, этот кожан! И что вдруг так уж захотелось купить кожан? Жил без него, ничего, жил бы и дальше. Сманить надо было Соньку от тещи! Жить отдельно... Правда, она тоже — дура, не пошла бы против матери. Но о чем бы ни думал Веня в ту ночь, как ни саднила душа, все вспоминался представительный мужчина — смотрел на Веню сверху, со сцены, не зло, не кричал... У него поблескивала металлическая штучка на галстуке. Брови у него черные, густые, чуть срослись на переносице. Волосы гладко причесаны назад, отсвечивают. А несколько волосиков слились и колечком повисли над лбом и покачивались, вздрагивали, когда мужчина говорил. Лицо хоть широкое, круглое, но крепкое, а когда он улыбался, на щеках намечались ямочки...

Утроим Веня поехал в рейс, в район.

Выехал рано, только-только встало солнышко. Но было уже тепло, земля не остыла за ночь.

Веня в дороге всегда успокаивался, о людях начинал думать: будто они, каких знал, где-то остались далеко, и его не касаются. Вспоминал всех, скопом... Думал: сами они там крепко все запутались, нервничают, много бестолочи. Вчерашнее судилище вспоминалось, как сон, тяжелый, нехороший...

На 27-м километре Веня увидел впереди «Волгу» — стоит, капот задран, а рядом — у Вени больно екнуло сердце — вчерашний представительный мужчина. Веня почему-то растерялся, даже газ скинул... И когда пред-

ставительный мужчина «голоснул» ему, Веня послушно остановился.

Мужчина поспешно подошел к кабине и заговорил:

— Подбрось, слушай... — И узнал Веню. — О-о, — сказал он, как показалось Вене, тоже несколько растерянно, — старый знакомый!

— Садись1 — пригласил Веня. Та некая растерянность, какую он уловил в глазах представительного мужчины, вмиг вселила в него какую-то нахальную веселость. — Припухаем?

Представительный мужчина легко сел в кабину и прямо и тоже весело посмотрел на Веню. И уже через минуту, как поехали, Веня усомнился — не показалось ли ему, что представительный мужчина поначалу словно растерялся?

— Ну, как? — спросил мужчина.

— Што?

— Настроение-то?.. Я думал, ты запьешь... так на недельку. Прямо скажу тебе, парень: счастливый билет ты вчера вытянул.

Веня молчал. Он не знал, что говорить. Не знал, как вести себя.

— С женой, конечно, развод? — понимающе спросил мужчина. И опять прямо посмотрел на Веню.

— Конечно, — Веню опять поразило, как вчера, на суде, что этот человек — такой... крепкий, что ли, умный, напористый, и при этом веселый.

— Эх, ребятки, ребятки... Беда с вами... Вот ведь и не скажешь, что жареный петух в зад не клевал, — и жил трудно, а одним махом взял и все перечеркнул: и семью разрушил, и репутация уже не та... Любил ведь жену-то?

Тут Веня чего-то вдруг обозлился.

— Не твое дело.

— Конечно, не мое! — воскликнул мужчина. — Твое. Твое, братец, твое. Было бы мое, моя бы душа и

страдала. Только жалко вас, дураков, вот штука-то. Выпьете на пятак, а горя... на два восемьдесят семь. — Мужчина чуть колыхнул животом. — Неужели трезвому нельзя было поговорить? И жена-то ведь красивая, я вчера посмотрел. Жить бы да радоваться...

Веня на мгновение как бы ослеп — до глубины, до боли осознал вдруг: ведь потерял он Соньку-то! Совсем? И как в пропасть полетел, ужаснулся...

— А что это за кожаное пальто, где ты его хотел достать?

— Да там, в аймаке, шьет один... — Веня смотрел вперед. Впереди был мост через Ушу. Широкий, длинный — Уша по весне разливается, как Волга. — На заказ.

— Из своего материала?

— Из своего.

— И сколько берет? — расспрашивал прокурор.

— По-разному. Я хотел рублей за сто шестьдесят. Если хорошее — дороже. — Веня вроде и не слышал вопросов, а отвечал верно.

— Что значит — хорошее?

— Ну, кожа другая, выделка другая... Разная бывает выделка.

— Ну, допустим, самую хорошую? То есть самую хорошую кожу, самой хорошей выделки. Сколько станет?

— Рублей, может, триста... Одному, говорит, за четыреста шил.

Машина въехала на мост.

— А где этот аймак? Далеко?

— Нет. — Странно: вроде Веня был один в кабине, и разговаривал сам с собой — такое было чувство.

— Адрес-то знаешь?

— Знаю адрес. Знаю... Эх! — крикнул вдруг Веня, как в пустоте, — громко. — А не ухнуть ли нам с моста?!

Он даванул газ и бросил руль... Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора... И увидел его глаза —

большие, белые от ужаса. И Веньке стало очень смешно, он засмеялся. А потом уж на него боком навалился прокурор и вцепился в руль. И так они и съехали с моста: Веня смеялся и давил газ, а прокурор рулил. А когда съехали с моста, Веня скинул газ и взял руль. И остановился.

Прокурор вылез из кабины... Глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Он хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Хлопнул дверцей.

Веня включил скорость и поехал. Он чего-то вдруг очень устал. И — хорошо, что он остался один в кабине, спокойнее как-то стало. Лучше.

САПОЖКИ

Ездили в город за запчастями... И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки. И потерял покой: захотелось купить такие жене. Хоть один раз-то, думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый подарок... Она таких сапожек во сне не носила.

Сергей долго любовался на сапожки, потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка и спросил весело:

— Это сколько же такие пипеточки стоят?

— Какие пипеточки? — не поняла продавщица.

— Да вот... сапожки-то.

— Пипеточки какие-то... Шестьдесят пять рублей.

Сергей чуть вслух не сказал: «О, ё!.. » — протянул:

— Да... Кусаются.



Продавщица презрительно посмотрела на него. Странный они народ, продавщицы: продаст обыкновенный килограмм пшена, а с таким видом, точно вернула забытый долг.

Ну, дьявол с ними, с продавщицами. Шестьдесят пять рублей у Сергея были. Было даже семьдесят пять. Но... Он вышел на улицу, закурил и стал думать. Вообще-то, не для деревенской грязи такие сапожки, если уж говорить честно. Хотя она их, конечно, беречь будет... Раз в месяц и наденет-то — сходить куда-нибудь. Да и не наденет в грязь, а — посуху. А радости сколько! Ведь это же черт знает какая дорогая минута, когда он вытащит из чемодана эти сапожки и скажет: «На, носи».

Сергей пошел к ларьку, что неподалеку от магазина, и стал в очередь за пивом.

Представил Сергей, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. Она, вообще-то, хорошая. С нами жить — надо терпение да терпение, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чего стоят. А ребятишки, а хозяйство... Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь, да отведешь душу: выпьешь когда — все легче маленько, а ведь они с утра до ночи, как заводные.

Очередь двигалась медленно, мужики без конца «повторяли». Сергей думал.

Босиком она, правда, не ходит, чего зря прибедняться-то? Ходит, как все в деревне ходят... Красивые, конечно, сапожки, но не по карману. Привезешь, а она же первая заругает. Окажет, на кой они мне, такие дорогие! Лучше бы девчонкам чего-нибудь взял, пальтишечки какие-нибудь — зима подходит.

Наконец Сергей взял две кружки пива, отошел в сторону и медленно стал пропускать по глоточку. И думал.

Вот так живешь — сорок пять лет уже — все думаешь: ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет... И так и подойдешь к той ямке, в которую надо ложиться, —а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать? Вот же: есть деньги, лежат необыкновенные сапожки — возьми, сделай радость человеку! Может, и не будет больше такой возможности. Дочери еще не невесты — чего-ничего, а надеть можно — износят. А тут — один раз в жизни...

Сергей пошел в магазин.

— Ну-ка дай-ка их посмотреть, — попросил он.

— Чего?

— Сапожки.

— Чего их смотреть? Какой размер нужен?

— Я на глаз прикину. Я не знаю, какой размер.

— Едет покупать, а не знает, какой размер. Их примерять надо, это не тапочки.

— Я вижу, что не тапочки. По цене видно, хэ-хэ...

— Ну и нечего их смотреть.

— А если я их купить хочу?

— Как же купить, когда даже размер не знаете?

— А вам-то что? Я хочу посмотреть.

— Нечего их осмотреть. Каждый будет смотреть...

— Ну, вот чего, милая,— обозлился Сергей, — я же не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть, а прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке.

— А вы не хамите здесь, не хамите! Нальют глаза-то и начинают...

— Чего начинают? Кто начинает? Вы что, поили меня, что так говорите?

Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей взял его, повертел, поскрипел хромом, пощелкал ногтем по лаково блестевшей подошве... Осторожненько запустил руку вовнутрь...

«Нога-то в нем спать будет», — подумал радостно.

— Шестьдесят пять ровно? — спросил он.

Продавщица молча, зло смотрела на него.

«О господи! — изумился Сергей. — Прямо ненавидит. За что?»

— Беру, — сказал он поспешно, чтоб продавщица поскорей бы уж отмякла, что ли, — не зря же он отвлекает ее, берет же он эти сапожки. — Вам платить или кассиру?

Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко:

— В кассу.

— Шестьдесят пять ровно или с копейками?

Продавщица все глядела на него; в глазах ее, когда Сергей повнимательней посмотрел, действительно стояла белая ненависть. Сергей струсил... Молча поставил сапожок и пошел к кассе. «Что она?! Сдурела, что ли, — так злиться? Так же засохнуть можно, не доживя веку».

Оказалось, шестьдесят пять рублей ровно. Без копеек. Сергей подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмотреть, глядел выше тощей груди. «Больная, наверно», — пожалел Сергей.

А продавщица чек не брала. Сергей поднял глаза... Теперь в глазах продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовольствие.

— Я прошу сапожки.

— На контроль, — негромко сказала она.

— Где это? — тоже негромко спросил Сергей, чувствуя, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу.

Продавщица молчала. Смотрела.

— Где контроль-то? — Сергей улыбнулся прямо в глаза ей. — А? Да не гляди ты на меня, не гляди, милая, — женатый я. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но... что я сделаю? Терпи уж, что сделаешь? Так где, говоришь, контроль-то?

У продавщицы даже ротик сам собой открылся... Такого она не ждала.

Сергей отправился искать контроль.

«О-о! — подивился он на себя. — Откуда что взялось! Надо же так уесть бабу. А вот не будешь психовать зря. А то стоит — вся изозлилась».

На контроле ему выдали сапожки, и он пошел к своим, на автобазу, чтобы ехать домой. (Они приезжали на своих машинах, механик и еще два шофера.)

Сергей вошел в дежурку, полагая, что тотчас же все потянутся к его коробке — что, мол, там? Никто даже не обратил внимания на Сергея. Как всегда — спорили. Видели на улице молодого попа и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза оставались печальными и умными, точно они смотрели на самого Витьку — безнадежно грустно.

— Ты знаешь, что у него персональная «Волга»?! — кричал Рашпиль (Витьку звали «Рашпиль»). — У их, когда они еще учатся, стипендия — сто пятьдесят рублей! Понял? Сти-пен-дия!

— У них есть персональные, верно, но не у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Персональные — у этих... каких?.. У апостолов не у апостолов, а у этих... как их?..

— Понял? У апостолов — персональные «Волги»! Во, пень дремучий. Сам ты апостол!

— Сто пятьдесят стипендия! А сколько же тогда оклад?

— А ты что, думаешь, он тебе за так будет гонениям подвергаться? На! Пятьсот рублей хотел?

— Он должен быть верующим.

Сергей не хотел ввязываться в спор, хоть мог поспорить: пятьсот рублей молодому попу — это много. Но спорить сейчас об этом... Нет, Сергею охота было пока-

зать сапожки. Он достал их, стал разглядывать. Сейчас все заткнутся с этим попом... Замолкнут. Не замолкли. Посмотрели, и все. Один только протянул руку — покажи. Сергей дал сапожок. Шофер (незнакомый) поскрипел хромом, пощелкал железным ногтем по подошве... И полез грязной лапой в белоснежную, нежную... внутрь сапожка. Сергей отнял сапожок.

— Куда ты своим поршнем?

Шофер засмеялся.

— Кому это?

— Жене.

Тут только все замолкли.

— Кому? — спросил Рашпиль.

— Клавке.

— Ну-ка?..

Сапожок пошел по рукам; все тоже мяли голенище, щелкали по подошве... Внутрь лезть не решались. Только расшеперивали голенище и заглядывали в белый, пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал прежде незнакомую гордость.

— Сколько же такие?

— Шестьдесят пять.

Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка растерялся.

— Ты что, офонарел?

Сергей взял сапожок у Рашпиля.

— Во! — воскликнул Рашпиль. — Серьга... дал! Зачем ей такие?

— Носить.

Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало. И привязалась одна тупая мысль: «Половина мотороллера. Половина мотороллера». И хотя он знал, что шестьдесят пять рублей — это не половина мотороллера, все равно упрямо думалось: «Половина мотороллера».

— Она тебе велела такие сапожки купить?

— При чем тут велела? Купил, и все.

— Куда она их наденет-то? — весело пытали Сергея. — Грязь по колено, а он — сапожки за шестьдесят пять рублей.

— Это ж зимние!

— А зимой в них куда?

— Потом — это ж на городскую ножку. Клавкина-то не полезет сроду... У ей какой размер-то? Это ж ей — на нос только.

— Какой она носит-то?

— Пошли вы!.. — вконец обозлился Сергей. — Чего вы-то переживаете?

Засмеялись.

— Да ведь жалко, Сережа! Не нашел же ты их, шестьдесят пять рублей-то.

— Я заработал, я и истратил, куда хотел. Чего базарить-то зря?

— Она тебе, наверно, резиновые велела купить?

Резиновые... Сергей вовсю злился.

— Валяйте лучше про попа — сколько он, все же, получает?

— Больше тебя.

— Как эти... сидят, курва, чужие деньги считают. — Сергей встал. — Больше делать, что ли, нечего?

— А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали. И не надо так нервничать...

— Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь-то?! Во, переживатель нашелся! Хоть бы у него взаймы взял, или что...

— Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко...

— Жалко — у пчелки в попке. Жалко ему!

Еще немного позубатились и поехали домой.

Дорогой Сергея доконал механик (они в одной машине ехали).

— Она тебе на что деньги-то давала? — спросил

механик. Без ехидства спросил, сочувствуя. — На что-нибудь другое?

Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал.

— Ни на что. Хватит об этом.

Приехали в село к вечеру.

Сергей ни с кем не подосвиданькался... Не пошел со всеми вместе — отделился, пошел один. Домой.

Клавдя и девочки вечеряли.

— Чего это долго-то? — спросила Клавдя. — Я уж думала, с ночевкой там будете.

— Пока получили да пока на автобазу перевезли... Да пока там их разделили по районам...

— Пап, ничего не купил? — спросила дочь, старшая, Груша.

— Чего? — По дороге домой Сергей решил так: если Клавка начнет косоротиться, скажет — дорого, лучше бы вместо этих сапожек... «Пойду и брошу их в колодец».

— Купил.

Трое повернулись к нему от стола. Смотрели. Так это «купил» было сказано, что стало ясно — не платок за четыре рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему... Ждали.

— Вон, в чемодане. — Сергей присел на стул, полез за папиросами. Он так волновался, что заметил: пальцы трясутся.

Клавдя извлекла из чемодана коробку, из коробки выглянули сапожки... При электрическом свете они были еще красивей. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакали из-за стола... Заахали, заохали.

— Тошно мнеченьки! Батюшки мои!.. Да кому это?

— Тебе, кому.

— Тошно мнеченьки!.. — Клавдя села на кровать, кровать заскрипела... Городской сапожок смело полез

на крепкую, крестьянскую ногу. И застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли... Голенище не лезло.

— Какой размер-то?

— Тридцать восьмой...

Нет, не лезли. Сергей встал, хотел натиснуть. Нет.

— И размер-то мой...

— Вот где не лезут-то. Голяшка.

— Да что же это за нога проклятая!

— Погоди! Надень-ка тоненький какой-нибудь чулок.

— Да кого там! Видишь?..

— Да...

— Эх-х!.. Да что же это за нога проклятая!

Возбуждение угасло.

— Эх-х! — сокрушалась Клавдя. — Да что же это за нога! Сколько они?..

— Шестьдесят пять. — Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдя не расслышала цену. — Шестьдесят пять рубликов, мол, цена-то.

Клавдя смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах ее, на ресницах, блестели слезы... Нет, она слышала цену.

— Черт бы ее побрал, ноженьку! — сказала она. — Разок довелось, и то... Эхма!

В сердце Сергея опять толкнулась непрошеная боль... Жалость. Любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдя глянула на него... Встретились глазами. Клавдя смущенно усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой, — как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с достоинством и гордо.

— Ну, Груша, повезло тебе. — Она протянула сапожок дочери. — На-ка, примерь.

Дочь растерялась.

— Ну! — сказал Сергей. И тоже тряхнул головой. — Десять хорошо кончишь — твои.

Клавдя засмеялась.

...Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери — курил последнюю папироску. Присел и сегодня... Курил, думал, еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью-минуту.

Клавдя стелила в горнице постель.

— Ну, иди... — позвала она.

Он нарочно не откликнулся, — что дальше скажет?

— Сергунь! — ласково позвала Клава.

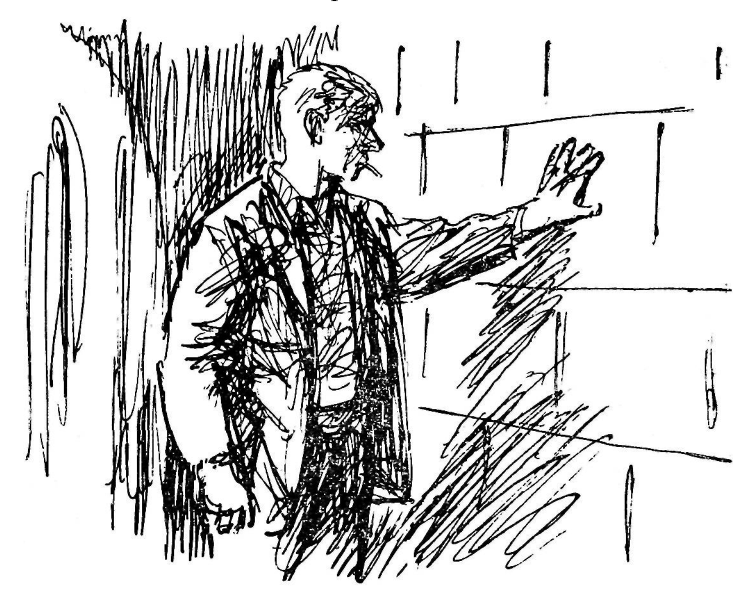
Сергей встал, загасил окурок и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе, качнул головой... Но не подумал так: «Купил сапожки, она ласковая сделалась». Нет, не в сапожках дело, конечно, дело в том, что...

Ничего. Хорошо.

МАСТЕР

Жил-был в селе Чебровка Семка Рысь, забулдыга, но непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый — совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце... И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она — в руках... Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они — ровные от плеча до кисти, толстые, словно литые. Красивые руки. Топорик в них — игрушечный. Кажется, не знать таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет:

— Что мы тебе, машины? Тогда иди заведи меня — я заглох. Но подходи осторожней — лягаюсь!



Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, «остолбенело все на свете», и он транжирит свои «лошадиные силы» на что угодно: поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь, — милое дело. Временами оп крепко пьет. Правда, полтора года в рот не брал, потом заскучал и снова стал поддавать.

— Зачем же, Семка? — спрашивали.

— Затем, что так — хоть какой-то смысл есть. Я вот нарежусь, так? И неделю хожу — вроде виноватый перед вами. Меня не тянет как-нибудь насолить вам, я тогда лучше про вас про всех думаю. Думаю, что вы лучше меня. А вот не пил полтора года, так насмотрелся на вас... Тьфу! И потом: я же не валяюсь каждый день под бочкой.

Пьяным он безобразен не бывал, не оскорблял жену — просто не замечал ее.

— Погоди, Семка, на запой наладишься, — стращали его. — Они все так, запойники-то: месяц не пьет, два, три, а потом все до нитки с себя спускают. Дождешься.

— Ну, так, ладно,— рассуждал Семка, — я пью, вы — нет. Что вы такого особенного сделали, что вам честь и хвала? Работаю я наравне с вами, дети у меня обуты-одеты, я не ворую, как некоторые...

— У тебя же золотые руки! Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался, если бы не пил-то.

— А я не хочу как сыр в масле. Склизко.

Он, правда, из дома ничего не пропивал, всю зарплату отдавал семье. Пил на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф «изладить», что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет... Кабинет они оба додумались «подогнать» под деревенскую избу (писатель был из деревни, тосковал по родному).

— Во, дурные деньги-то! — изумлялись односельчане, когда Семка рассказывал, какую они избу уделали в современном городском доме. — Шестнадцатый век!

— На паркет настелили плах, обстругали их, и все, — даже не покрасили. Стол — тоже из досок сколотили, вдоль стен — лавки, в углу — лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял... Лежит кошма и тулуп, и все. Потолок паяльной лампой закоптили — вроде по-черному топится. Стены горбылем обшили... Шестнадцатый век, — задумчиво говорил Семка. — Он мне рисунки показывал, я все по рисункам делал.

Когда Семка жил у писателя в городе, он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки... Этого добра у писателя было навалом.

В то же лето, как побывал Семка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талица, что в трех верстах от Чебровки. Церковка была закрыта давно. Каменная, небольшая, она открывалась взору вдруг, сразу за откосом, который огибала дорога в Талицу... По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на возвышении, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с детства помнил Семка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте, у косогора, вздрогнешь, — внезапно увидишь церковь, белую, изящную, легкую среди тяжкой зелени тополей.

В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени, большая, с высокой колокольней. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы — две церкви, одна большая, на возвышении, другая спряталась где-то под косогором, — какая должна выиграть, если сравнить? Выигрывала маленькая, под косогором. Она всем брала: и что легкая, и что открывалась глазам внезапно... Чебровскую видно было за пять километров кругом — на то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от

праздного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся, сразу.

Как-то в выходной день Семка пошел опять к талицкой церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица — столько лет стоит! — молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега... Но вот — стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители ее, давно стала прахом та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе — на людную городскую площадь — там заметят. Этого заботило что-то другое — красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе — туда, в свою черную жуткую тьму небытия, — не услышишь. Да и что тут окажешь? Ну, — хорошо, красиво, волнует, радует... Разве в этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что — красиво. Что?.. Ничего. Умеешь радоваться — радуйся, умеешь радовать — радуй... Не умеешь — воюй, командуй, или что-нибудь такое делай — можно разрушить вот эту сказку: подложить пару килограммов динамита — дроболызнет, и все дела. Каждому свое.

Смотрел, смотрел Семка и заметил: четыре камня вверху, под карнизом, не такие, как все, — блестят. Подошел поближе, всмотрелся — да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена — восточная, и если бы он довел работу до конца, то при восходе

солнца (оно встает из-за косогора) церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки и постепенно занималась бы светлым огнем вся, во всю стену — от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил, — может, тот, кто заказывал и давал деньги, сказал: «Ладно, и так сойдет».

Семка больше того заволновался — захотел понять, как шлифовались камни. Наверно, так: сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом — сукном или кожей. Большая работа.

В церковь можно было проникнуть через подвал — это Семка знал с детства, не раз лазил туда с ребятней. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью (дверь давно унесли), полуобвалился, зарос бурьяном... Семка с трудом протиснулся в щель и — где на четвереньках, где согнувшись в три погибели — вошел в придел. Просторно, гулко в церкви... Легкий ветерок чуть шевелил отставший, вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами.

Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом внутрь. Попросту, внизу вдоль стен идет каменный прикладок — примерно в метре от стены у основания и в рост человеческой высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего — он, Семка, сперва не сообразил. Отметил только, что камни прикладка, хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу — темные, потом — выше — светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху купол, выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверно, шлифован — так светло, празднично там, под куполом. А всего-то четыре — узких — оконца...

Семка сел на приступку, стал думать: зачем этот каменный прикладок? И объяснил себе так: мастер убрал прямые углы — разрушил квадрат. Так как церковка маленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри, а ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка — квадрат. Он поэтому внизу положил камни потемней, а по мере того как поднимал прикладок и выравнивал его со стеной, высветлял: стены, таким образом, как бы отодвинулись.

Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой.

На другой день Семка, сказавшись больным, не пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюшка отослал сына, с которым учил географию, и сказал просто:

— Слушаю.

Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском глаза нестарого еще попа, смотрели на Семку прямо, твердо — он ждал.

— Ты знаешь талицкую церкву? — Семка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на «ты». — Талица, Чебровского района.

— Талицкую?.. Чебровский район... Маленькая такая?

— Ну.

— Знаю.

— Какого она века?

Поп задумался.

— Какого? Боюсь, не соврать бы... Думаю, при Алексее Михайловиче еще... Сынок-то его не очень баловал народ храмами. Семнадцатый век, вторая половина. А что?

— Красота-то какая!.. — воскликнул Семка. — Как же вы так?

Поп усмехнулся.

— Слава богу, хоть стоит пока. Красивая, да. Давно не видел ее, но помню. Внизу, кажется?

— А кто делал, неизвестно?

— Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать.

— Но ведь у вас же есть деньги! Есть ведь?

— Ну, допустим.

— Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь...

— Ты это к чему?

— Отремонтируйте ее — это же чудо! Я возьмусь отремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощников мне — до холодов сделаем...

— Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меня тоже есть начальство... Сходи к митрополиту! — Поп сам тоже заинтересовался. — Сходи, а чего! Ты веруешь ли?

— Да не в этом дело. Я, как все. Мне жалко — такая красота пропадает. Ведь сейчас же восстанавливают...

— Восстанавливает государство.

— Но у вас же тоже есть деньги!

— Ты сходи, сходи к митрополиту-то.

— А где он? Здесь разве?

— Нет, ехать надо.

— В область?

— В область.

— У меня с собой денег нет. Я только до тебя ехал.

— А я дам, ты откуда будешь-то?

— Из Чебровки, столяр, Семен Рысь...

— Вот, Семен, съезди-ка! Он у нас человек... умница... Расскажи ему все. Ты от себя только?

— Как «от себя»? — не понял Семка.

— Сам ко мне-то, или выбрали да послали?

— Сам.

— Ну все равно — съезди! А пока будешь ехать, я ему позвоню — он уже будет знать, что к нему, примет тебя.

Семен подумал немного.

— Давай! Я потом тебе вышлю.

— Потом договоримся. От митрополита заехай снова ко мне, расскажешь.

Митрополит, крупный, седой старик, с неожиданно тоненьким голоском, принял Семку радушно.

— Звонил мне отец Герасим... Ну, расскажи, расскажи, как тебя надоумило храм ремонтировать?

Семка отхлебнул из красивой чашки горячего чаю.

— Да как?.. Никак. Смотрю — красота. А никому не нужна!..

Митрополит усмехнулся.

— Красивая церковь, я ее знаю. При Алексее Михайловиче, да. Кто архитектор, пока не знаю... Можно узнать. А земли были бояр Борятинских... Тебе зачем мастера-то знать?

— Да так, интересно. С большой выдумкой человек.

— Мастер большой, потом выясним кто. Ясно, что он знал владимирские храмы, московские...

— Ведь до чего додумался!.. — И Семка стал рассказывать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера.

Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: «Ишь ты!» А попутно Семка выкладывал и свои соображения: стену ту, восточную, отшлифовать, как и хотел мастер, маковки обшить и позолотить и в верхние окна вставить цветные стекла — тогда под куполом будет такое сияние, такое сияние!.. Мастер туда подобрал какой-то особенный камень, наверно, с примесью слюды... И если еще оранжевые стекла всадить...

— Все хорошо, все хорошо, сын мой, — перебил ми-

трополит. — Вот скажи мне сейчас: разрешаем вам ремонтировать талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать. Я, не моргнув глазом, называю: Семен Рысь, столяр из Чебровки. Только... не разрешат мне ее ремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело.

— Почему?

— Я тоже спрошу: «Почему?» А они меня спросят: «А зачем?» Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю...

— Да в Талице-то мало...

— Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка.

— Да не надо в ней молиться! Есть же всякие музеи...

— Вот музеи-то — как раз дело государственное, не наше.

— И как же теперь?

— Я подскажу как. Напишите миром бумагу: так, мол, и так — есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии...

— Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши.

— Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и — сами, своими словами... даже лучше.

— Я знаю! У меня есть такой человек! — Семка вспомнил про писателя.

— И с той бумагой — к властям. В облисполком. А уж они решат. Откажут, пишите в Москву... Но раньше в Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию...

— Она бы людей радовала — стояла!

— Таков мой совет. А что говорил с нами, про то не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай бог удачи.

Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит — дай бог! Домина — комнат, наверно, из восьми... Во дворе «Волга» стоит. Это неприятно удивило Семку. И он решил, что действительно лучше, пожалуй, иметь дело с властями. Эти попы темнят чего-то... И хочется им, и колется, и мамка не велит.

Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его дом... Писателя дома не было.

— Нет его, — резковато сказала Семке молодая полная женщина. И захлопнула дверь. Когда он отделывал здесь «избу XVII века», он что-то не видел этой женщины. Ему страсть как захотелось посмотреть «избу». Он позвонил еще раз.

— Я сама! — услышал он за дверью голос женщины. И дверь опять открылась...

— Ну? Что еще?

— Знаете, я тут отделывал кабинет Николая Ефимыча... охота глянуть...

— Боже мой! — негромко воскликнула женщина. И закрыла дверь.

«По-моему, он д о м а , — догадался Семка. — И по-моему, у них идет крупный разговор».

Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах: «Какой-то идиот, который отделывал твой кабинет», и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не вышел. Наверно, его правда не было.

Семка пошел в облисполком.

К председателю облисполкома он попал сразу и довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него:

— Почему же опаздываете?! То обижаются — не принимают, а то самих не дождешься. Где остальные?

— Там, — сказал Семка, — идут.

— Идут. — Секретарша вошла в кабинет, побыла там короткое время, вышла и сказала сердито: — Проходите.

Семка прошел в кабинет... Председатель пошел ему навстречу — здороваться.

— А шуму-то наделали, шуму-то! — сказал он хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже. — Шумим, братцы, шумим? Здравствуйте!

— Я насчет церкви, — сказал Семка, пожимая руку председателя. — Она меня перепутала, ваша помощница. Я один... насчет церкви...

— Какой церкви?

— У нас, не у нас, в Талице есть церква семнадцатого века. Красавица необыкновенная! Если бы ее отремонтировать, она бы... Не молиться, нет! Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы ее до холодов сделал. — Семка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал при этом. — Я говорю, есть в деревне Талица церква, — стал он говорить медленно, но уже раздражаясь. — Ее необходимо отремонтировать, она в запустении. Это — гордость русского народа, а на нее все махнули рукой. А отремонтировать, она будет стоять еще триста лет и радовать глаз и душу.

— Мгм, — сказал председатель. — Сейчас разберемся. — Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша. — Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас в деревне старая церковь, она показалась вам интересной как архитектурный памятник семнадцатого века. Так?

— Совершенно точно! Главное, не так уж много там и делов-то: перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу вмонтировать — повыше, крестом...

— Сейчас, сейчас... у нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он.

В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке.

— Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с товарищем, — по вашей части.

— Пойдемте, — радушно предложил Игорь Александрович.

Они пошли по длинному коридору, Игорь Александрович впереди, Семка сзади на полшага.

— Я сам из Талицы, а точнее из Чебровки, Талица от нас...

— Сейчас, сейчас, — покивал головой Игорь Александрович, не оборачиваясь. — Сейчас во всем разберемся.

«Здесь, вообще-то, время зря не теряют», — подумал Семка.

Вошли в кабинет... Кабинет победней, чем у председателя, — просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами.

— Ну? — сказал Игорь Александрович. И улыбнулся. — Садитесь и спокойно все расскажите.

Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Семка заметил это.

— Все? — спросил Игорь Александрович.

— Пока все.

— Ну, слушайте. Талицкая церковь Н-ской области, Чебровского района, — стал читать Игорь Александрович. — Так называемая, — на крови. Предположительно семидесятые—девяностые годы семнадцатого века. Кто-то из князей Барятинских погиб в Талице от руки недруга... — Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение: — Возможно, передрались пьяные братья или кумовья. Итак, значит... погиб от руки недруга, и на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры цен-

ности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не выказал. Более или менее точная копия владимирских храмов. Останавливают внимание размеры церкви, но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а, очевидно, материальными возможностями заказчика. Перестала действовать в тысяча девятьсот двадцать пятом году.

— Вы ее видели? — спросил Семка.

— Видел. Это, — Игорь Александрович показал страничку казенного письма в папке, — ответ на мой запрос. Я тоже, как вы, обманулся...

— А внутри были?

— Был, как же. Даже специалистов наших областных возил...

— Спокойно! — зловеще сказал Семка. — Что сказали специалисты? Про прикладок...

— Вдоль стен? Там, видите, какое дело: Борятинские увлекались захоронениями в своем храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок... Там, если обратили внимание, — надписи на прикладке — в тех местах, где внизу захоронения.

Семка Рысь чувствовал себя полностью обескураженным.

— Но красота-то какая! — попытался он упорствовать.

— Красивая, да. — Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма. — Похоже?

— Похоже...

— Это владимирский храм Покрова. Двенадцатый век. Не бывали во Владимире?

— Я што-то не верю... — Семка кивнул на казенную бумагу. — По-моему, они вам втерли очки, эти наши специалисты. Я буду писать в Москву.

— Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся: думал, что она тоже двенадцатого века... Я думал, кто-то самостоятельно — сам по себе, может быть, понаслышке, — повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсовет послал?

— Да нет, я сам... Надо же! Ну, допустим — копия. Ну, и что? Красоты-то от этого не убавилось.

— Ну, это уже не то... А главное, денег никто не даст на ремонт.

— Не дадут?

— Нет.

Домой Семен выехал в тот же день. В райгородок прибыл еще засветло. И только здесь, на станции, вспомнил, что не пил дней пять уже. Пошел к ларьку... Обидно было и досадно. Как если бы случилось так: по деревне вели невиданной красоты девку... Все на нее показывали пальцем и кричали несуразное. А он, Семка, вступился за нее, и обиженная красавица посмотрела на него с благодарностью. Но тут некие мудрые люди отвели его в сторону и разобъяснили, что девка та — такая-то растакая, что жалеть ее нельзя, что... И Семка сник головой. Все вроде понял, а в глаза поруганной красавице взглянуть нет сил — совестно. И Семка, все эти последние дни сильно загребавший против течения, махнул рукой... И его вынесло к ларьку. Он взял на поповские деньги «полкилограмма» водки, тут же осаденил, закусил буженинкой и пошел к отцу Герасиму.

Отец Герасим был в церкви на службе. Семка отдал его домашним деньги, какие еще оставались, оставил себе на билет и на бутылку красного, сказал, что долг вышлет по почте... И поехал домой.

С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, зло курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в область, и куда там ходил, тоже не спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, значит, зачем же бередить душу расспросами.

БИЛЕТИК НА ВТОРОЙ СЕАНС

Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова — опостылело все на свете. Так бы вот встал на четвереньки и зарычал, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы.

— С чего эт тебя так? — притворно сочувствовал сторож Ермолай.

Тимофей понимал притворство Ермолая, но все равно жаловался:

— Судьба-сучка...— И дальше сложно: — Чтоб у ней голова не качалась... Чтоб сухари в сумке не мялись... — Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно и сложно, точно плел на кого-то, ненавистного, многожильный ременный бич. Ругать судь-



бу до страсти хотелось, и поэтому было еще «двенадцать апостолов», «осиновый кол в бугорок», «мама крестителя» — много. Даже Ермолай изумлялся:

— Забрало тебя!

— Заберет, когда она, сучка, так со мной обошлась.

— Ну, если уж тебе на судьбу обидеться, то... не знаю. Чего тебе не хватает-то? В доме-то всего невпроворот.

Тимофею не хотелось объяснять сторожу, отчего болит душа. Да и не понимал он. Сам не понимал. В доме, действительно, все есть, детей выучил в институтах... Было время, — гордился, что жить умеет, теперь тосковал и злился. А дурак сторож думал про себя: «Совесть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал... И не попался ни разу, паразит!»

— Разлад, Ермоха... Полный разлад в душе. Сам не знаю отчего.

— Пройдет.

Не проходило.

В тот день, в субботу (он весь какой-то вышел, день, нараскосяк), Тимофей опечатал склад, опять выпили со сторожем, и Тимофей пошел домой. Домой не хотелось — там тоже тоска, еще хуже: жена начнет нудить.

Была осень после дождей. Несильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным желтым огнем. Холодно, тоскливо. И как-то противно ясно...

Тимофей думал: «Вот — жил, подошел к концу... Этот остаток в десять — двенадцать лет, это уже не жизнь, а так — обглоданный мосол под крыльцом — лежит, а к чему? Да и вся-то жизнь, как раздумаешься, — тьфу! Вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то то, то это... А Ермоха, например, всю жизнь прожил валиком — рыбачил себе в удовольствие; ни

горя, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но Ермоха хоть какую-нибудь радость знал, а тут — как циркач на проволоке: пройти прошел, а коленки трясутся».

Шел Тимофей, думал... И взял да свернул в знакомый переулок. Жила в том переулке Поля Тепляшина... Когда-то — давно — Тимофей с Полей «крутили» преступную любовь. Были скандалы, битье окон, позор. Жена Тимофея, Гутя, семь лет отчаянно боролась с Полей за Тимоху, Гутю хвалили в деревне, она гордилась и учила молодых баб, какие оказывались в ее положении:

— Он к сударушке, а ты — со стяжком — под окошки к им. Да по окошкам-то, по окошкам-то — стяжком-то...

Бывала в деревне такая любовь — со стяжками. Теперь лучше — разошлись, и все. Раньше годами лютовали.

С Тимохиной любовью тогда все само собой утряслось: у вдовы Поли подрос сын Колька, Николай Петрович, и стал гонять Тимофея от матери. Тимофей набычился — к Поле:

— Уйми сосуна!

А та вдруг залепила:

— Пошел ты!.. Чего я, сына на тебя променяю? На — выкуси.

Тимофей хотел разок покуражиться, но нарвался на молодой Колькин кулак и после этого перестал туда ходить. Самое дурацкое положение настало потом: обе женщины, Поля и Гутя, — вдруг подружились. И вместе смеялись над Тимохой.

— Как там сударчик-то мой поживает? — принародно спрашивала Поля.

Гутя смеялась:

— На печке — клопов давит.

Мстили, что ли.

Тимоха тогда же налетел на законную жену, но получил отпор на этот раз от своих детей.

Спроси сейчас Тимофей, зачем он идет к Поле, он не сказал бы. Не знал.

Поля удивилась.

— Вона!.. Вот так гость. Зачем это?

— А что? Что ты, заразная, что ли, что тебя обходить надо? Посидим по старой памяти, выпьем в о т... — У Тимофея была с собой бутылка, он ее поставил на стол. — Спомним былое...

— Было бы чего!

Поля стала старая, некрасивая. Тимофей со злости подумал: «Она красивой-то и не была сроду». Стало вдруг жалко себя.

— Хошь, анекдот один расскажу?

— Вона!

— Чего ты, как попка, заладила: «вона! вона!» Как дикари, честное слово. Ну, зашел... Ну и что? Глупые вы какие-то, бабы, честное слово!

— Чего же ходите — к глупым-то?

— А где вас умных-то взять? Так и меняешь — шило на мыло.

— Небось ревизия была — злой-то?

— На меня еще такой ревизор не родился...

— Оно видно. Видно, уродился.

Тимофей выпил стакан — закусить чем-нибудь не спросил, Поля не предложила. Зато и он Полю не пригласил с собой выпить.

— Слушай анекдот. Приехал один мужик в город, идет по улице... А сам доходной-доходной — мужик-то. Но все-таки думает: где бы тут подцепить какую-нито? Слыхал, значит, про городских-то, ну и мысли-то заиграли. И тут подходит к нему одна — гладкая вся, тут — полна пазуха, вежливая... Пойдемте ко мне, я тут близко живу. Мужик радешенький — сама навялилась. Приходют. Она говорит: раздевайтесь, я счас при-

ду. А сама — в другую комнату. Ну, он разделся, сидит. Ждет. А она выводит детей малых и говорит им: «Вот, детки, если не будете хорошо кушать, будете такие же худые, как вот этот вот дядя».

Полю эта история не рассмешила. Тимофею тоже было не смешно. А днем, когда рассказали, смеялся с шоферами. И подумал еще, что историйка поучительная.

— К чему эт ты? — спросила Поля.

Тимофей пояснил:

— Точно так со мной выкинула судьба-сучка. Живи, мол, Тимофей!.. Раз башка есть на плечах — живи, никого не бойся! Ну, Тимофей и разлысил лоб...

— Жил бы честно, никого бы и не боялся.

Это она больно уела.

Тимофей стал соображать, как бы ее тоже побольней укусить.

— Не знаешь, кто это вот тут, — показал на кровать, — честно с чужим мужиком миловался? Не приходилось слышать?

— Приходилось. А тебе не приходилось слышать, кто на этом же самом месте от живой жены с чужой бабой миловался? Я одинокая была, вдова, а ты семейный. Поганец ты...

Тимофей еще выпил. Вот теперь он, кажется, все понял: жалко себя, жалко свою прожитую жизнь. Не вышло жизни.

— Сказка про белого бычка у нас получается, Поля...

Поля засмеялась.

— Чего смеешься? — спросил Тимофей.

— А чего мне не посмеяться?

— Не надо... Тебе не личит — зубы кривые.

— А ведь когда-то не замечал...

— Замечал, почему не замечал, только... Эхма! Што ведь и обидно-то, дорогуша моя: кому дак все в жизни: и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая,

с сахарными зубами. А Тимохе, ему с кривинкой сойдет, с гнильцой...

— Во змей-то! — изумилась Поля. — Козел вонючий. Ну-ка забирай свою бутылку — и чтоб духу твоего тут не было! А то возьму ухват вон, да по башке-то по умной... Умник!

Тимофей аккуратно надел опять на бутылку железненькую косыночку, устроил бутылку во внутренний карман пиджака и, не торопясь, пошел прочь. Стало вроде малость полегче. Но хотелось еще кому-нибудь досадить. Кому-нибудь так же бы вот спокойно, тихо — наговорить бы гадостей.

Пришел он домой, а дома, в прихожей избе, склонившись локотком на стол, сидит... Николай Угодник. По всем описаниям, по всем рассказам — вылитый Николай Угодник: белый, невысокого росточка, игрушечный старичочек... Сидит, головку склонил, смотрит ласково. Больше никого в доме нет.

— Ну, здравствуй, Тимофей, — говорит.

Тимофей глянул кругом... и вдруг бухнулся в ноги старичку. И, стараясь тоже ласково, тоже кротко и благостно, сказал тихо:

— Здорово, Николай Угодничек. Я сразу тебя узнал, батюшка.

Угодник весь как-то встрепенулся, удивился, засмеялся мелко, погрозил пальцем.

— Пьяненький?

— А — есть маленько! — с отчаянной какой-то веселостью, с любовью продолжал Тимофей. — С тоски больше... не обессудь, батюшка. С тоски. Шибко-то не загуливаюсь. Ребятишек теперь вырастил — чего, думаю, теперь не попить? Какой ты, батюшка, — седенький... А чего пришел-то?

Угодник поморгал ясными глазами. Опять посмеялся.

— С чего тоска-то?

— Тоска-то? А бог ее знает! Не верим больше — вот и тоска. В боженьку-то перестали верить, вот она и навалилась, матушка. Церквы позакрывали, матерщинничаем, блудим... Вот она и тоска.

— А ты веровал ли когда?

— Батюшка!.. Вот те крест: маленький был, веровал. В рождество Христа славить ходил. Не приди большевики, я бы и теперь, может, верил бы.

— Сам-то не коммунист?

— Откуда! Я бы, может, и коммунистом стал — перед тобой-то чего лукавить! — но был у меня тесть — ни дна бы ему, ни покрышки! — его в тридцатом году раскулачили...

— Ну.

— Ну, я с той поры и завязал рот тряпочкой, и не заикался никогда.

Угодник больше того удивился. Горько удивился:

— Ты что, Тимофей?

— Как на духу, батюшка! Дак ты чего пришел-то? К добру или к худу — как понимать-то?

Угодник потрогал маленькой сморщенной ладонью белую бородку.

— Чего пришел... Да вот... попроведать вас, окаянных. Ты, однако, поднимись с колен-то.

— Постою! Чего мне не постоять? Не отсохнут. Что, батюшка, так вот походишь, поглядишь по свету-то: испаскудился народишко?

— Маленько есть. Значит, говоришь, тесть тебе перешел дорогу?

— Перешел. Да он и кулаком-то, по правде сказать, никогда не был, так — заупрямился тогда, с колхозами-то, нашумел, натрепался где-то... Трепач он был, тесть-то. Дурак дураком. Ботало коровье. Жил, правда, крепко. А я середнячишко был... мне бы в партию большевиков-то можно бы...

— И что же он, тесть-то?

— Отпыхтел свое, пришел. Я его так и не видел — далеко живем друг от друга. У сына он живет, балда старая. А сын далеко где-то. Так, говоришь, испаскудился народишко?

— Здорово испаскудился, — серьезно сказал Угодник.

— Совсем никудышный стал народ! — подхватил Тимофей. — Пьют, воруют... Я и то приворовываю на окладе. Знамо, грех, но поглядишь кругом-то — господи-господи, что делается!

— Приворовываешь?

— Приворовываю, батюшка. Ребятишек вон выучил — на какие бы шиши, так-то? Батюшка... — Тимофей весь собрался, подполз ближе. — Чего я тебя хотел попросить...

— Ну?

— Ты там к господу нашему, Исусу Христу, близко сидишь... К деве Марии... Посоветуйтесь там сообча да и... это... Шибко уж жалко, батюшка! До того жалко, сердце обмирает. Ведь я мужик-то неглупый, ведь у меня грамотешки-то совсем почти нету, а я вон каких молодцов обвожу вокруг пальца...

— Не пойму я.

— Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается — что прожил, — родите-ка вы меня ишо разок...

Угодник опять невольно рассмеялся.

— То жалуется — тоска, а то... Ну и сукин ты сын, Тимоха!

— Да потому и жалуюсь, ишо жизнь-то не вышла! — Тимофей готов был заплакать злыми слезами. — Ты вот смеешься, а мало тут смешного, батюшка, одна грусть-тоска зеленая. Ведь вон на земле-то... хорошо-то как! Разве ж я не вижу, не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то. Тьфу! — да растереть, вот и вся моя жизнь.

— А как бы ты, интересно, жить стал? Другой-то раз...

— Перво-наперво, я б на другой бабе женился. Про любовь даже в Библии писано, а для меня — что любовь, что чирей на одном месте, прости, господи, — одинаково. Или как все одно килу смолоду нажил, — так и жена мне: кряхтишь, а носишь. Никудышная бабенка попалась. Дура. Вся в папашу своего. Хайло разинет и давай — только и знает. Сундук плетеный, не баба. Из-за нее больше и приворовываю-то. Жадная!.. Несусветно жадная. А с моей-то башкой — мне бы ч в начальстве походить, тоже бы не мешало... Из меня бы прокурор, я думаю, неплохой бы получился. — Тимофей засмотрелся снизу в святые глаза Угодника. — Тестюшку, например, своего я б тада так законопатил, что он бы и по сей день там... За язычину его...

— Цыть! — зло сказал старичок. — Ведь я и есть твой тесть, дьявол ты! Ворюга! Разуй глаза-то!.. Допился? Тимофей поднялся с колен, отряхнул штаны, спокойно и устало сказал:

— Гляди-ко! Правда — тесть. Тестюшка! Ну, давай выпьем. Со стречей. Вишь, за кого я тебя принял...

— Допился, сукин сын!

— Все секреты свои рассказал тебе... Тц! Ну, ничего — знай. Вот ведь как обознался! Это ж надо так вклепаться... А-я-я-я-й!

Потом, когда выпили, тесть, оскорбленный за себя и за дочь, тыкал под нос Тимофею опрятный кукиш и твердил скороговоркой:

— Вот тебе, а не другую жись! Вот тебе — билетик на второй сеанс! Ворюга...

А Тимофей, красный, монотонно повторял:

— Ах, как я вклепался!.. А-я-я-я-яй! Это же надо так!

— Я тебя самого посажу, ворюга...

— Кто, ты? Господь с тобой! — кто тебе поверит, лишенцу?

— Вот, вот тебе — билетик на второй сеанс! Хе-хе-хе! — другой раз жить собрался!.. На-ка! — Тесть-Угодник хотел опять угодить под нос зятю белым кукишем, но зять вылил ему на голову стакан водки и, пугая, полез в карман за спичками.

— Подожгу ведь.

Тесть-Угодник вытерся полотенцем и заплакал.

— Чего ты, Тимоха?.. над старым-то человеком... Бесстыдник ты! Дешевка... Приехал к нему, как к доброму...

— В том-то и дело, что не з н а ю , — миролюбиво уже оказал Тимоха. — Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б все честно сказал, только не знаю, чего такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали сивку... Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко — песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно.

3 зак. 7386

СУРАЗ

Спирьке Расторгуеву — тридцать шестой, а на вид — двадцать пять, не больше.

Он поразительно красив; в субботу сходит в баню, пропарится, стащит с себя недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху — молодой бог! Глаза ясные, умные... Женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как два вороньих крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает!.. Природа, кажется, иногда шутит. Ну зачем ему! Он и сам говорит: «Это мне — до фени». Ему все «до фени». Тридцать шесть лет — ни семьи, ни хозяйства настоящего. Знает свое — матерщинничать да к одиноким бабам по ночам шастать. Шастает ко всем подряд, без разбора. Ему



это — тоже «до фени». Как назло кому: любит постарше и пострашней.

— Спирька, дурак ты, дурак, хоть рожу свою пожалей! К кому поперся — к Лизке корявой, к терке!.. Неужели не совестно?

— С лица воду не пить, — резонно отвечает Спирька. — Она — терка, а душевней всех вас.

Жизнь Спирьки скособочилась рано. Еще он только был в пятом классе, а уж начались с ним всякие истории. Учительница немецкого языка, тихая обидчивая старушка из эвакуированных, пристально рассматривая Спирьку, говорила с удивлением:

— Байрон!.. Это поразительно, как похож!

Спирька возненавидел старушку.

Только подходило «Анна унд Марта баден», у него болела душа — опять пойдет: «Нет, это поразительно!.. Вылитый маленький Байрон». Спирьке это надоело. Однажды старушка завела по обыкновению:

— Невероятно, никто не поверит: маленький Бай...

— Да пошла ты к... — И Спирька загнул такой мат, какого постеснялся бы пьяный мужик.

У старушки глаза полезли на лоб. Она потом говорила:

— Я не испугалась, нет, я была санитаркой в четырнадцатом году, я много видела и слышала... Но меня поразило: откуда он-то знает такие слова?! А какое прекрасное лицо!.. Боже, какое у него лицо — маленький Байрон!

«Байрона» немилосердно выпорола мать. Он отлежался и двинул на фронт. В Новосибирске его поймали, вернули домой. Мать опять жестоко избила его... А ночью рвала на себе волосы и выла над сыном; она прижила Спирьку от «проезжего молодца» и болезненно любила и ненавидела в нем того молодца: Спирька был вылитый отец, даже характером сшибал, хоть в глаза не видал его.

В школу он больше не пошел, как мать ни билась и чем только ни лупила. Он пригрозил, что прыгнет с крыши на вилы. Мать отступилась. Спирька пошел работать в колхоз.

Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался... Мать вконец измучилась с ним и махнула рукой.

— Давай, может, посадют.

И правда, посадили. После войны. С дружком, таким же отпетым «чухонцем», перехватили на тракте сельповскую телегу из соседнего села, отняли у возчика ящик водки... Справились с мужиком! Да еще всыпали ему. Сутки гуляли напропалую у Спирькиной «марухи»... И тут их накрыла милиция. Спирька успел схватить ружье, убежал в баню, и его почти двое суток не могли взять — отстреливался. К нему подсылали «маруху» его, Верку-тараторку, — уговорить сдаться добром. Шалаболка Вера тайком, под подолом, отнесла ему бутылку водки и патронов. Долго была там с ним... Вышла и объявила гордо:

— Не выйдет к вам!

Спирька стрелял в окошечко и пел:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

— Спирька, каждый твой выстрел — лишний год! — кричали ему.

— Считайте — сколько?! — отвечал Спирька. И из окошечка брызгал стремительный длинный огонь, гремело. Потом он протрезвился, смертельно захотел спать... Выкинул ружье и вышел.

Пять лет «пыхтел».

Пришел — такой же размашисто-красивый, дерзкий и такой же неожиданно добрый. Добротой своей он поражал, как и красотой. Мог снять с себя последнюю ру-

баху и отдать — если кому нужна. Мог в свой выходной поехать в лес, до вечера пластаться там, а к ночи привезти машину дров каким-нибудь одиноким старикам. Привезет, сгрузит, зайдет в избу.

— Да чего бы тебе, Спиренька, андел ты наш?.. Чего бы тебе за это? — суетятся старики.

— Стакан водяры. — И смотрит с любопытством. — Что, ничего я мужик.

Пришел Спирька из тюрьмы... Дружков — никого, разъехались, «марухи» замуж повыходили. Думали, уедет и он. Он не уехал. Малость погулял, отдал деньги матери, пошел шоферить.

Так жил Спирька.

В село Ясное приехали по весне два новых человека, учителя: Сергей Юрьевич и Ирина Ивановна Зеленецкие — муж и жена. Сергей Юрьевич — учитель физкультуры, Ирина Ивановна — пения.

Сергей Юрьевич — невысокий, мускулистый, широченный в плечах... Ходил упружисто, легко прыгал, кувыркался; любо глядеть, как он серьезно, с увлечением проделывал упражнения на турнике, на брусьях, на кольцах... У него был необычайно широкий добрый рот, толстый, с нашлепкой нос и редкие, очень белые, крупные зубы.

Ирина Ивановна — маленькая, бледненькая, по-девичьи стройная. Ничего вроде бы особенного, а скинет в учительской плащик, пройдет, привстанет на цыпочки, чтобы снять со шкафа тяжелый аккордеон, — откуда ладность явится, изящность. Невольно засматривались на нее.

Такая-то пара (было им по тридцать—тридцать два года) приехала в Ясное в хорошие теплые дни в конце апреля. Их поселили в большом доме, к старикам Прокудиным.

Первым, кто пришел навестить приезжих, был Спирька. Он и раньше всегда ходил к новым людям. Придет, посидит, выпьет с хозяевами (кстати сказать, Спирька, хоть пил, допьяна напивался редко), поговорит и уйдет.

Было под вечер. Спирька умылся, побрился, надел выходной костюм и пошел к Прокудиным.

— Пойду гляну, что за люди, — сказал матери.

Старики Прокудины вечеряли.

— Садись, Спиридон, похлебай. — Спирька иногда помогал старикам, они любили его и жалели.

— Спасибо, я из-за стола. Дома ваши квартиранты?

— Там. — Старик кивнул на дверь горницы. — Укладываются.

— Как они?

— Ничо, уважительные. Сыру с колбасой вот дали. Садись, попробуй?

Спирька качнул головой, пошел в горницу. Стукнул в дверь:

— Можно?

— Войдите! — пригласили за дверью.

Спирька вошел.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — сказали супруги. И невольно засмотрелись на Спирьку. Так было всегда.

Спирька пошел знакомиться.

— Спиридон Расторгуев.

— Сергей Юрьевич.

— Ирина Ивановна. Садитесь, пожалуйста.

Пожимая теплую маленькую ладошку Ирины Ивановны, Спирька открыто, с любопытством оглядел всю ее. Ирина Ивановна чуть поморщилась от рукопожатия, улыбнулась, почему-то поспешно отняла руку, поспешно повернулась, пошла за стулом... Несла стул, смотрела на Спирьку не то что удивленная — очень заинтересованная.

Спирька сел.

Сергей Юрьевич смотрел на него.

— С приездом, — сказал Спирька.

— Спасибо.

— Пришел попроведать, — пояснил гость. — А то пока наш народ раскачается, засохнуть можно.

— Необщительный народ?

— Как везде: больше по своим углам.

— Вы здешний?

— Здешний. Чалдон.

— Сережа, я сготовлю чего-нибудь?

— Давай! — охотно откликнулся Сережа и опять весело посмотрел на Спирьку. — Вот со Спиридоном и отпразднуем наше новоселье.

— Стаканчик можно пропустить, — согласился Спирька. — Откуда будете?

— Не очень далеко.

Ирина Ивановна пошла в комнату стариков; Спирька проводил ее взглядом.

— Как жизнь здесь? — спросил Сергей Юрьевич.

— Жизнь... — Спирька помолчал, но не искал слова, а жалко вдруг стало, что не будет слышать, как он скажет про жизнь, эта маленькая женщина, хозяйка. — Человек, он ведь как: полосами живет. Полоса хорошая, полоса плохая... — Нет, не хотелось говорить. — А зачем она пошла-то? Сказать старикам, они сделают, что надо.

— Зачем же? Она сама хозяйка. Так какая же у вас теперь полоса?

— Так — середка на половинке. Ничего вообще-то... — Ну решительно не хотелось говорить, пока она там готовит эту дурацкую закуску. — Закурить можно?

— Курите.

— Учительствовать?

— Да.

— Она по кому учитель?

— По пению.
— Что, поет хорошо? — оживился Спирька.
— Поет...
— Может, споет нам?
— Ну... попросите, может, споет.
— Пойду скажу старикам... Зря она там!
И Спирька вышел из горницы.

Вернулись вместе — Ирина Ивановна и Спирька. Ирина Ивановна несла на тарелочке сыр, колбасу, сало...

— Я согласилась не делать горячего, — сказала она.

— Хорошо, что согласилась.

— Да на кой оно!.. — чуть не сорвался Спирька на привычное определение. — Милое дело — огурец да кусок сала! Верно? — Спирька глянул на хозяина.

— Тебе лучше знать, — резковато оказал Сергей Юрьевич.

Спирьку обрадовало, что хозяин перешел на «ты» — так лучше. Он не заметил, как переглянулись супруги: ему стало хорошо. Сейчас — стаканчик водки, — а там видно будет.

Вместо водки на столе появился коньяк.

— Я сразу себе стакан, потом — ша: привык так. Можно?

Спирьке любезно разрешили.

Спирька выпил коньяк, взял маленький кусочек колбасы...

— Вот... — поежился. — Достали слой вечной мерзлоты, как говорят.

Супруги выпили по рюмочке. Спирька смотрел, как вздрагивало нежное горлышко женщины. И — то ли коньяк так сразу, то ли кровь — кинулось что-то тяжелое, горячее к сердцу. До зуда в руках захотелось потрогать это горлышко, погладить. Взгляд Спирьки посветлел, поумнел... На душе захорошело.

— Мечтяк коньячишко, — похвалил он. — Дорогой только.

Сергей Юрьевич засмеялся; Спирька не замечал его.

— Милое дело — самогон, да? — спросил Сергей Юрьевич. — Дешево и сердито.

«Что бы такое рассказать веселое?» — думал Спирька.

— Самогон теперь редко, — сказал он. — Это в войну... — И вспомнились далекие трудные годы, голод, непосильная, недетская работа на пашне... И захотелось обо всем этом рассказать весело. Он вскинул красивую голову, в упор посмотрел на женщину, улыбнулся:

— Рассказать, как я жил?

Ирина Ивановна поспешно отвела от него взгляд, посмотрела на мужа.

— Расскажи, расскажи, Спиридон, — попросил Сергей Юрьевич. — Это интересно — как ты жил.

Спирька закурил.

— Я — сураз, — начал он.

— Как это? — не поняла Ирина Ивановна.

— Мать меня в подоле принесла. Был в этих местах один ухарь. Кожи по краю ездил собирал, заготовитель. Ну, заодно и меня заготовил.

— Вы знаете его?

— Ни разу не видал. Как мать забрюхатела, он к ней больше глаз не казал. А потом его за что-то арестовали — и ни слуху ни духу. Наверно, вышку навели. Ну, и стал я, значит, жить-поживать... — И так же резко, как захотелось весело рассказать про свою жизнь, так — сразу — расхотелось. Мало веселого... Про лагерь, что ли? Спирька посмотрел на Ирину Ивановну, и в сердце опять толкнулось неодолимое желание: потрогать горлышко женщины, погладить.

Он поднялся.

— Мне в рейс. Спасибо за угощение.

— Ночью в рейс? — удивилась Ирина Ивановна.

— У нас бывает. До свиданья. Я к вам еще приду.

Спирька, не оглянувшись, вышел из горницы.

— Странный парень, — сказала жена после некоторого молчания.

— Красивый, ты хотела сказать?

— Красивый, да.

— Красивый... Знаешь, он влюбился в тебя.

— Да?

— И тебя, кажется, поскребло по сердцу. Поскребло?

— С чего ты взял?

— Поскребло-о.

— Тебе хочется, чтобы поскребло?

— А что?.. Только... не получится у тебя.

Женщина посмотрела на мужа.

— Испугаешься, — сказал тот. — Для этого нужно мужество.

— Перестань, — сказала жена серьезно. — Чего ты?

— Мужество и, конечно, с и л а , — продолжал м у ж . — Надо, так сказать, быть в форме. Вот он — сумеет. Между прочим, он сидел в тюрьме.

— Почему ты решил?

— Не веришь? Иди спроси у стариков.

— Если тебе нужно, иди спрашивай.

— А что?..

Муж вышел к старикам.

Через пять минут вернулся... И с наигранной торжественностью объявил:

— Пять лет! В лагерях строгого режима. За грабеж.

Отсыревший к вечеру, прохладный воздух хорошо свежил горячее лицо. Спирька шел, курил. Захотелось вдруг, чтоб ливанул дождь — обильный, чтоб резалось

небо огневыми зазубринами, гремело сверху... И тогда бы — заорать, что ли.

Спирька направился в очередное «логово» — к Нюре Завьяловой.

Стукнул в окно.

— Ну? — недовольно спросила засланная Нюра, смутно, белым пятном маяча за окном.

Спирька молчал, думал про Нюру: один раз, в войну, когда Нюре было года двадцать три и она была вдовой с двумя маленькими ребятишками, Спирька (ему тогда шел четырнадцатый) ночью сбросил с воза в огород к ней мешок зерна (ехали обозом в город молоть). Нюре стукнул вот в это, кажется, окно и сказал торопливо:

— Найди в огороде, у бани... Спрячь подальше!

А когда через два дня, тоже ночью, пришел к Нюре, она накинулась на него:

— Ты што, Спирька, змей полосатый, в тюрьму меня захотел посадить?! Сам хочешь сытый ходить, а к другим подбрасываешь?..

Спирька опупел.

— Да не себе я, чего ты разоралась-то!

— Кому же?

— Тебе. Им же исть надо! — Про детей Нюриных. — Голодные же сидят...

Нюра заревела коровой, бросилась обнимать Спирьку. Спирька, расстроенный, матерился.

— Ну, и вот!.. Будешь им в ступке толочь да лепешки в золе печь — вкуснятина, сил нет...

Вот что вспомнилось вдруг.

— Чего стоишь-то? — спросила Нюра. — Дверь открыта... Стариков не разбуди.

Спирька стоял. Было в его характере какое-то жестокое любопытство: что она сейчас будет делать?

— Спирька!.. Ну, чего ты?

Молчание.

— Иди, что ли?

Молчание.

— Дурак заполошный... Разбудит, а потом начинает... Ну и иди к черту! — Нюра пошла к кровати.

Спирька неслышно прокрался по прихожей избе, где храпели старики Нюрины, и очутился в горнице.

— Чего выкобениваешься-то?

Спирьке нестерпимо стало жаль Нюру... Какого черта, действительно? Лучше не приходить тогда.

— Все, Нюрок, спим.

Через три дня, вечером, Спирька пошел к Прокудиным. Квартирантов не было дома. Спирька побеседовал пока со стариками. Рассказал, что одному солдату явилась земная божья мать...

Пришла Ирина Ивановна. Одна. Свеженькая: внесла в избу прохладу вечерней весенней улицы. Удивилась и, как показалось Спирьке, обрадовалась.

Спокойный, решительный, Спирька прошел в горницу.

— Букетик, — предложил он. И подал женщине кроваво-красный пылающий букетик жарков.

— Ах!.. — обрадовалась женщина. — Ах, какие они! Как они называются? Я таких никогда не видела...

— Жарки. — В груди у Спирьки весело зазвенело. Так бывало, когда предстояло драться или обнимать желанную женщину. Он не скрывал любви. — Я вам теперь часто буду такие привозить.

— Да нет, зачем же?.. Это ведь — труд лишний...

— Ох, — скокетничал Спирька, — труд! Мимо езжу, их там хоть литовкой *коси*... — Спирька подумал, что хорошо все-таки, что он красивый. Другого давно бы уж поперли, и все. Он улыбался, ему было легко.

Женщина тоже засмеялась и смутилась. Спирька наслаждался: как в знойный-знойный день пил из ключа студеную воду, погрузив в нее все лицо. Пил и пил — и по телу огоньком разливался томительный жар. Он

ваял женщину за руку... Как во сне! — только бы не просыпаться.

Женщина хотела отнять руку... Спирька не выпустил.

— Зачем вы?.. Не нужно.

— Почему не нужно? — Все, что умел Спирька, все, что безотказно всегда действовало на других женщин, все хотел бы он обрушить сейчас на это дорогое, слабое существо. Он молил в душе: «Господи, помоги! Пусть она не брыкается!» Он повлек к себе женщину... Он видел, как расширились ее близкие, удивленные глаза. Теперь — чтоб не дрогнула, не ослабла рука... «Господи, мне больше пока ничего не надо — поцелую, и все». И поцеловал. И погладил белое нежное горлышко... И еще поцеловал мягкие податливые губы. И тут вошел муж... Спирька не слышал, как он вошел. Увидел, как вскинулась голова женщины, и испуг плеснулся в ее глазах... Спирька услышал за спиной насмешливый голос:

— Те же. И муж.

Спирька отпустил женщину. Не было ни стыдно, ни страшно. Жалко было. Такая досада взяла на этого опрятного, подтянутого, уверенного человека... Хозяин пришел! И все у них есть, у дьяволов, везде они — желанные люди. Он смотрел на мужа.

— Лихой парень! Ну, как, удалось что-нибудь? — Сергей Юрьевич хотел улыбнуться, но улыбки не вышло, только нехорошо сузились глаза, и толстые губы обиженно подрожали. Он посмотрел на жену. — Что молчите? Что побледнела?! — Крик — злой, резкий — как бичом стегнул женщину. — Шлюха!.. Успела? — Муж шагнул к ней...

Спирька загородил ему дорогу. Вблизи увидел, как полыхают темные глаза его обидой и гневом... И еще уловил Спирька тонкий одеколонистый холодок, исходивший от гладко выбритых щек Сергея Юрьевича.

— Спокойно, — сказал Спирька.

В следующее мгновение сильная короткая рука влекла Спирьку из горницы.

— Ну-ка, красавец, пойдем!..

Спирька ничего не мог сделать с рукой: ее как приварили к загривку, и крепость руки была какая-то нечеловеческая, точно шатуном толкали сзади.

Так проволокли Спирьку через комнату стариков; старики во все глаза смотрели на квартиранта и на Спирьку.

— Кота пакостливого поймал, — пояснил квартирант.

Ужас, что творилось в душе Спирьки!.. Стыд, боль, злоба — все там перемешалось, душило.

— Пидор, гад, — хрипел Спирька, — что ты делаешь?..

Вышли на крыльцо... Шатун сработал, Спирька полетел вниз с высокого крыльца и растянулся на сырой соломенной подстилке, о которую вытирают ноги.

«Убью», — мелькнуло в Спирькиной голове.

Сергей Юрьевич спускался к нему...

— Вставай.

Спирька вскочил до того, как ему велели... И тотчас опять полетел на землю. И с ужасом и с брезгливостью понял: «Он же бьет меня!» И опять вскочил и хотел скользнуть под чудовищный шатун — к горлу физкультурника. Но второй шатун коротко двинул его в челюсть снизу. Спирьку бросило назад; он почувствовал медь во рту. Опять бросился на учителя... Он умел драться, но ярость, боль, позор, сознание своей беспомощности перед шатунами — это лишило его былой ловкости, спокойствия. Слепая ярость бросала и бросала его вперед, и шатуны работали. Кажется, он ни разу так и не достал учителя. От последнего удара он не встал. Учитель склонился над ним.

— Я тебя уработаю, — неразборчиво, слабо, серьезно сказал Спирька.

— Будем считать, что это урок вежливости. Лагерные штучки надо бросать. — Учитель говорил не зло, тоже серьезно.

— Я убью тебя, — повторил Спирька. Во рту была какая-то болезненная мешанина, точно он изгрыз флакон с одеколоном — все там изрезал и обжег. — Убью, знай.

— За что? — спокойно спросил учитель. — За что ты меня убьешь?.. Подлец.

Учитель ушел в дом, захлопнув за собой дверь и задвинул железную щеколду.

Спирька попробовал встать, не мог. Голова гудела, но думалось ясно. Он знал, как с крыши Прокудинского дома — через лаз — можно спуститься в кладовку. Кладовка не запиралась: шпагатная веревочка накидывалась петелькой на гвоздик, и все, — чтоб дверь сама не открывалась. Дверь в избу стариков тоже никогда не запирается на ночь. В горнице запора и вовсе нет. Он потому так хорошо все знал в доме Прокудиных, что сын их, Мишка, был смолоду товарищ Спирьки и Спирька часто бывал и даже ночевал у них. Теперь Мишки не было, но все, конечно, осталось у стариков, как раньше.

С трудом наконец Спирька поднялся, подержался за стену дома... Пошел к реке. Силы возвращались.

Он умыл разбитое лицо, оглядел со спичками костюм, рубашку... Не надо, чтобы мать увидела кровь и заподозрила неладное, когда он станет брать ружье. Ружье можно взять под любым предлогом: ехать с семенным зерном в глубинку, а утром посидеть там у озера.

Мать спала уже.

— Ты, Спирька? — спросила она сонным голосом с печки.

— Я. Спи. Мне ехать надо.

— Достань в печке — картошка жареная, в сенцах молоко... Поешь на дорогу-то.

— Ладно, я с собой возьму. — Спирька, не зажигая огня, тихо снял со стены ружье, повозился для близира в сенях. Зашел в избу (ружье в сенях оставил). Стал на припечек, нашел впотьмах голову матери, погладил по жидким теплым волосам. Он, бывало, выпивши ласкал мать; она не встревожилась.

— Выпимши... Как поедешь-то? — Мать с годами больше и больше любила Спирьку, жалела, стыдилась, что он никак не заведет семью — все не как у добрых людей! — ждала, может, какая-нибудь самостоятельная вдова или разведенка прибьется к ихнему дому.

— Ничего, поеду.

— Ну, Христос с тобой. — Мать во тьме перекрестила его. — Потише хоть ехай-то, а то гоните, как чумные.

— Все будет хорошо. — Спирька бодрился, а хотелось скорей уйти и как-нибудь забыть про мать: вот кого больно оставлять в этой жизни — мать.

Он шел темной улицей, крепко сжимал в руке тулку. Все хотелось отвязаться от мысли о матери. Не выживет она. Как поведут его, связанного, как увидит... Спирька прибавил шагу. «Господи, дай ей силы перенести», — молил. Он чуть не бежал. А под конец и побежал. И волновался, как вроде не убивать бежал, а — в постель к Ирине Ивановне, в тепло и согласие. Она вставала в глазах, Ирина Ивановна, но как-то сразу и уходила. Губы ее, мягкие, полураскрытые, помнились, но насладиться воспоминанием мешал вкус крови во рту и... одеколонистый холодок с гладких щек Сергея Юрьевича. Холодок этот запашистый почему-то вспоминался сейчас.

Спирька бежал и подпевал негромко для бодрости:

Неужели конь вороный
Перекусит удила?
Неужели моя милая...

Дом весь темный. «Так, так, так, — мысленно, скоро говорил сам с собой Спирька. — Берем лестницу... Ставим ее, в душеньку ее... Спокойно». Он благополучно проник в кладовку, прислушался — тихо. Только сердце наколачивает в ребра. «Спокойно, Спиря!» Шпагатинка тоже почти бесшумно лопнула, только гвоздик, спружинив, тоненько тенькнул. Спирька, выставив вперед свободную руку, неслышно прошел по сеням, лепкими касаниями по стене нашарил дверь. «Так, так...» Склонился, подцепил пальцами низ двери, сколько мог, приподнял ее и дернул на себя. Дверь открылась с тихим приятным вздохом: «п-ах». И дальше отошла беззвучно. Пахнуло старушечьим жильем, отсыревшим полушубком, теплой печкой, тестом... Вот тут его давеча волокли за шкирку. Пронеси, господи, — чтоб старики не проснулись. Страшно стало: что-нибудь сейчас помешает! «Ах, как он меня бил! Как бил!.. Умеет».

Спирька сам удивлялся своей легкости, ловкости. Сам себя не слышал. Нащупал дверь горницы, тоже приподнял ее снизу... Дверь скрипнула. Спирька быстро, бережно прикрыл ее за собой... Он был в горнице! Во тьме горницы, слабо разбавленной светом уличной лампочки, скрипнула кровать. Спирька нашел на стене выключатель, щелкнул. На него, сидя в кровати смотрел Сергей Юрьевич. Приподнялась Ирина Ивановна... Сперва уставилась на мужа, потом, от его взгляда, — на Спирьку с ружьем. Безмолвно открыла рот... Спирька понял, что Сергей Юрьевич не спал — очень уж понимающе, неподвижно смотрел он своими темными глазами.

— Я предупреждал: я тебя уработаю, — сказал Спирька. Хотел оттянуть курок двустволки, но они были уже взведены. (Когда же взвел?).

— Помнишь? Я тебе говорил.

Спирьку не взволновало, что Ирина Ивановна сидит в нижней рубашке, что одна ленточка съехала с плеча, и грудка, матово-белая, крепенькая, не кормившая детей, вся видна до соска.

Супруги молчали. Смотрели на Спирьку.

— Вылазь из кровати, — велел Спирька.

— Спиридон... тебе же будет расстрел, неужели...

— Я знаю. Вылазь.

— Спиридон! Неужели...

— Вылазь!

Сергей Юрьевич спрыгнул с кровати — в трусах, в майке.

Спирька вскинул ружье.

Сергей Юрьевич мертвенно побледнел...

И тут вдруг закричала Ирина Ивановна, да так ужасно, так громко, неистово, требовательно, так не похоже на себя — такую маленькую, умненькую, с теплыми мягкими губами — как-то уж совсем нечеловечески горько, отчаянно. И свалилась с кровати, и поползла, протягивая руки...

— Не надо! О-о-о-й!! Не надо! О-о-й!.. — И хотела схватить за ружье — на коленях — хотела...

Тут Сергей Юрьевич прыгнул на Спирьку, широко расставив руки. И получил удар прикладом в грудь, и свалился.

— Родно-ой!.. Не надо! — выла маленькая женщина. Похоже, что она забыла имя Спирьки. — О-о-й!..

В избе, за дверью, всполошились старики, тоже заорали.

— Не надо!! — кричала женщина, и мотала головой, и все хотела обнять его ноги, и ползала без трусов — рубашка сбилась ей на спину, она

не замечала того — все хотела поймать ноги Спирьки.

Спирька растерялся, отпинывал женщину... И как-то ясно вдруг понял: если он сейчас выстрелит, то выстрел этот потом ни замолить, ни залить вином нельзя будет. Если бы она хоть не так выла!.. Сколько, однако, силы в ней!

— Мать вашу!.. — заругался Спирька.

Вышел из горницы и пошагал прочь от темного дома. Он как-то сразу вдруг очень устал. Вспомнилась мать, и он побежал, чтоб убежать от этой мысли — о матери. От всяких мыслей. Вспомнилась еще Ирина Ивановна, голенькая, и жалость и любовь к ней обожгли сердце. И легко на минуту стало — что не натворил беды. Господи, как ревела!.. А как бы она потом убивалась над покойным мужем! И опять — мать... Вот кто взвоет-то! Спирька побежал скорее. Прибежал на кладбище, сел на землю. Темно было. Он приладил стволы к сердцу... Дотянулся до курков. Подумал: «Ну!.. Все?! Пальцы нащупали две холодные тоненькие скобочки...

«Счас толканет», — опять подумал. И вдруг ясно увидел, как лежит он, с развороченной грудью, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ясное утреннее небо... Взойдет солнце, и над ним, холодным, зажужжат синие мухи, толстые, жадные. Потом сбегутся всей деревней — смотреть. Кто-нибудь скажет: «Надо прикрыть, что ли». Как... Тьфу! Спирька содрогнулся. Сел. «Погоди-ка, милок, погоди. Погоди, погоди. Стой, фраер, не суетись! Я тебя спрашиваю: в чем дело? Господи! — отметелили. Тебя что, никогда не били? В чем же дело?!»

— В чем дело? — спросил вслух Спирька. — А? — брезгливо, с опаской отстранил от себя стволы, перехватил ружье, осторожно спустил курки. Глубоко и радостно вздохнул. И заговорил громко, дурашливо, испытывая большое облегчение и радость.

— В чем дело, Спиря? А? А-я-я-я-яй! Как же так? Побили мальчика? Побили... Больно, да? Хотел себе в лобик — пук!.. Ну и фраер! — Спирька даже засмеялся и схватился за губу: губы треснули от учителева рычага, стало больно, когда засмеялся. — Что ты? Что ты? Что ты? (Разбитый рот выговаривал: «Фто ты? Фто ты?») — Разве так можно? А-я-я-я-яй! Нехорофо. Ну, побили... а ты сразу... стреляться. Оо!

Спирька лег спиной на прохладную землю, раскинул руки... Вот так он завтра лежал бы. Там, где сейчас стучит сердце, — Спирька приложил ладонь к груди, — здесь была бы рваная дыра от двух зарядов — больше шапки. Может, загорелся бы, и истлели бы пиджак и рубаха. Голый лежал бы... О, курва, смотреть же противно! Спирька сел, закурил, с наслаждением затянулся. Так торопился засадить в себя эти два заряда, что и покурить напоследок не догадался. Даже те, кого расстреливают, Спирька слышал, просят покурить в последний раз. Вспомнилась маленькая девочка, племянница Спирьки: когда она чувствует, что отцу надоело уже возить ее на горбу, она смешно-просительно морщит мордочку и говорит: «Посений язок! Ну посений язочек!» Спирька засмеялся, вспомнив девочку. Опять лег, курил, смотрел на звезды; и показалось, что они чуть звенят в дрожи — тонким-тонким звоном; и ему тоже захотелось тихо-тихо, по-щенячьи, поскулить... Он зажмурился и почувствовал, как его плавно, мощно несет земля. Спирька вскочил. Надо что-то делать, надо что-нибудь сделать. «Что-нибудь я сейчас сделаю!» — решил он. Он подобрал ружье и скоро пошагал... сам не зная куда. Только прочь с кладбища, от этих крестов и молчания. Он стал вслух, незло материть покойников.

— Лежите?.. Ну и лежите! Лежите — такая ваша судьба. При чем тут я-то? Вы лежите, а я малость еще побегаю по земле. Покружусь.

Теперь он хотел убежать от мысли о кладбище, о том, как он лежал там... Он хотел куда-нибудь прибежать, к кому-нибудь. Может, рассказать все... Может, посмеяться. Выпить бы! А где теперь? Как где? А Верка-буфетчица из чайной? Э-э, там же всегда есть! Там, кстати, можно и переночевать.

Спирька свернул в переулок.

Вера сперва заворчала: вот — ни днем, ни ночью... Спирька зажег спичку и осветил свое лицо.

— Ты глянь, меня же было не убили, а ты канитель развела.

Вера испугалась. Спирька тихонько засмеялся, довольный.

— Да где эт тебя так?! — опросила Вера.

— В одном месте... Славно уделали?

— Господи, Спирька!.. Добьют тебя когда-нибудь. Где был-то?

— Не скажу. Секрет.

Прошли в Верину комнату. Вера задернула поплотней занавески, зажгла свет. Еще раз оглядела Спирьку... Потрогала теплой ладошкой, пахнущей кремом, горячие ссадины на его лице.

— Ой! — притворно воскликнул Спирька. Опять засмеялся и стал ходить по комнате.

Славный это народ, одинокие женщины! Почему-то у них всегда уютно, хорошо. Можно размашисто походить, если не скрипит пол. Можно подумать... Можно, между делом, приласкать хозяйку, погладить по руке... Все кстати, все умно. Они вздрагивают с непривычки и смотрят ласково, пытливо. Милые. Добрые. Жалко их.

Вера нашла бутылку водки. Сходила даже в погребушку, принесла огурцов. Только вернулась испуганная...

— Там у тебя что, ружье, что ли? Я запнулась...

— Ружье. Пусть стоит.

— А зачем ружье-то?

— Да так.
— Спирька... ты чего это?
У Веры был хороший муж, хороший мужик, помер в сорок лет. Что приключилось, бог его знает. Рак, наверно.
— Спирька!..
— Аиньки?
— Ты что... воюешь, что ли, бегаешь?
— Воюю. Вот — ранили. — Спирька опять засмеялся. Что-то смешно ему было. Хорошо было.
— Вот чудной-то. Может, убил кого?
— Нет. После убью. Потом.
— Спирька, я боюсь. Может, ты натворил чего... тогда и меня... как свидетельницу... Ну тя к дьяволу!
— Все в порядке, дурочка. Чего ты испугалась? Никого я не убил. Меня чуть не убили... А мне надо еще придумать, как убить.
— Пей и уходи, — рассердилась Вера. — Уходи, Спирька. Мне только этого еще не хватало.
Спирька посерьезнел.
— Успокойся. Неужели я похожий на такого — невиновных подводить. Что ты? Ты же знаешь меня... Я б никогда не пришел, если б... Брось.
— С ружьем по ночам носится...
Спирька выпил стакан, закусил огурцом. Вера не стала пить.
— Не хочу.
— Почему?
— Не хочу. Напугал ты меня с этим ружьем. Кто избил-то?
— Чужие какие-то. Перестань про это. Не *надо*. — Вспомнился учитель... Бледный, в трусах. Спирька передернул плечами, прогоняя неприятную, злую мысль. Радости *поубавилось*. — Ладно, ладно, *ладно*, — торопливо сказал он. — Не надо про это. — И еще налил полстакана, чтоб не успеть подумать еще про учительни-

цу, чтоб не вспомнить ее. Но она вспомнилась — маленькая, полуголенькая, насмерть перепуганная... Все-таки вспомнилась.

Утром Спирька вскочил рано. Оставил ружье у Веры.

— Вечером зайду, возьму.

— А куда сам?

— На работу, куда. Это... не болтай про ружье-то.

— Ну, пошла всем рассказывать: был ночью Спирька с ружьем...

— Умница. Избили меня какие-то нездешние... На тракте. Я хотел догнать их с ружьем, не догнал.

Вера недоверчиво смотрела на Спирьку; впрочем, Спирька и не старался особенно-то казаться правдивым.

— Выпьешь?

— Нет. Будь здорова.

Спирька пошел к учителям. Шел кривыми переулками, по задворкам — чтоб меньше встретить людей. Все же двух-трех встретил. Встретил бригадира колхозного, Илью Китайцева. Илья ехидно, понимающе заулыбался издали.

— Ого! Ноченька была!

Спирька тоже широко улыбнулся, превозмогая боль, которая прокалывала иглами все лицо. Сказал:

— Была, Илюха! Была ноченька. Дай закурить.

— Чего эт?

— Так... Упал. — Стыд, позор... От стыда даже язык онемел, кончик. Тонкая Илюхина ухмылочка резала лезвием по сердцу. — Закурим, что ли?

— Закурим, закурим. Здорово упал-то... Высоко, наверно. Как же эт ты?

— Ну, Илюха... бывает — падают. Я вот те счас зелепеню, ты тоже упадешь. Что, нет, думаешь?

Илюха перестал улыбаться.

— Чего ты?

— А чего ты губы-то свои распустил? Сразу, курва, ехидничать! Не можешь без ехидства слова сказать. Дай дороги!

Нет, в деревне пока не жить. От одного позора на край света сбежишь. Будут вот так улыбаться губошлепы разные... Ах, учитель, учитель... Вот ведь как научился руками работать! Славно, славно. Хорошо бы тебя ногами к потолку подвесить... Нет, на твоих же глазах жену твою драгоценную... исцеловать, всю, до болячки, чтоб орала. Жестокие чувства гнали Спирьку вперед, точно кто в спину подталкивал. Он не замечал, что опять он торопится. Но он знал, что сейчас не бросится на учителя, нет. Это будет потом... спокойно. Страшно. Это потом.

Вспоминая позже этот утренний разговор с учителями, Спирька не испытывал удовлетворения.

Он явился, как если бы рваный черный человек из-за дерева с топором вышагнул... Стал на пороге. Учитель был уже одет, побрит... как раз с электрической бритвой он и стоял перед зеркалом. Она жужжала около его лица. Учительница, припухшая со сна и от вчерашнего крика, миленькая, беленькая, готовила завтрак. Она тоже замерла с тарелкой в руках.

— Одно предупреждение, — деловито заговорил Спирька. — Что у нас тут случилось — никому ни звука. Старикам сами накажите. Я на время исчезаю с горизонта, но, Сергей Юрьевич, я тебя, извини, все же уработаю.

— Как это... уработаю? — глупо переспросила Ирина Ивановна.

— Я получил аванец... я его должен отработать. — Не знал Спирька, когда это произойдет, но придет он сюда однажды — спокойный, красивый, нарядный — скажет: «Я пришел платить». И что уж это будет за

ситуация такая и кто такой будет сам Спирька, только учитель растеряется, станет жалким. И станет просить: «Спиридон, я был глуп, я прошу прощения...» — «Ну, н у , — скажет Спирька в е ж л и в о , — не надо сразу в штаны класть. Тут же женщина... жена ваша, она должна уважать вас».

— Какой аванс? — все никак не могла понять Ирина Ивановна. — У кого взяли?

— Он мне будет мстить. Отомстит, — пояснил учитель. — Хорошо, Спиридон, я принял к сведению. — Учитель взял себя в руки. — Мы никому ничего не расскажем.

— Вот так... Будьте здоровы п о к а . — Спирька вышел.

«А куда это я исчезаю-то?» — подумал он. Даже остановился. Только теперь отчетливо дошло вдруг до сознания, что он, оказывается, решил уехать.

«А куда, куда?» Но, оказалось, что он и это знает: в город Б-ск, что в полсотне километрах отсюда. Когда он все это решил, он не знал, но в нем это уже жило. И только прирожденная осторожность требовала, чтобы решение еще раз проверилось.

Минуя дом, Спирька пошел в гараж. Там еще пережил веселые глаза шоферов. Злился в душе, нервничал. Взял путевку в рейс подальше и скоро уехал.

Дорогой немного успокоился. Стал думать. Хотел опять породить в своем воображении сладостную картину, какая озарила его, когда он разговаривал утром с учителем: придет он к нему — вежливый, нарядный... Но желанная картина что-то не возникала. Спирька в досаде хотел распалить себя, помочь; ну, ну — придет... «Здравствуйте!» Нет... Не выходит. Противно думать обо всем этом. Его вдруг поразило, и он даже отказался так понимать себя: не было настоящей, всепожирающей злобы на учителя. Все эти видения: учитель висит головой вниз, или: учитель, бледный, жалкий, ползает у него в н о т а х , — это так хотелось Спирьке, чтоб они,

эти картины, стали желанными, сладостными. Тогда бы можно, наверно, и успокоиться, и когда-нибудь так и сделать: повесить учителя головой вниз. Ведь надо же желать чего-нибудь лютому врагу! Надо же хоть мысленно видеть его униженным, раздавленным. Надо! Но... Спирька даже заерзал на сиденье; он понял, что не находит в себе зла к учителю. Если бы он догадался, подумать и про всю свою жизнь, он тоже понял бы, вспомнил бы, что вообще никогда никому не желал зла. Но он так не подумал, а отчаянно сопротивлялся, вызывал в душе злобу.

«Ну, фраер!.. тряпка, что ж ты? Тебя метелят, как тварь подзаборную, а ты... Ну! Ведь как били-то! Смеясь и играя... Возили. Топтали. Что же ты? Ведь над тобой же смеяться будут. И первый будет смеяться учитель. Что же ты? Ведь ни одна же баба к себе не допустит такую слякоть». Злости не было.

А как же теперь? На этот вопрос Спирька не знал, как ответить. И потом, в течение дня, он еще пытался понять: «Как теперь?» И не мог.

Вообще, собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишенной смысла. И в этом Спирька все больше утверждался. Временами он даже испытывал к себе мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой, такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку, садится и сидит, и все.

Спирька так и сделал: свернул с дороги в лес, въехал на полянку, заглушил мотор, вылез, огляделся и сел на пенек.

«Вот где стреляться-то, — вдруг подумал он спокойно. — А то — на кладбище припорол. Здесь хоть красиво».

Красиво было, правда. Только Спирька специально не разглядывал эту красоту, а как-то сразу всю понял

ее... И сидел. Склонился, сорвал травинку, закусил ее в зубах и стал слушать птиц. Маленькие хозяева лесные посвистывали, попискивали, чирикали где-то в кустах. Пара красавцев дятлов, жуково-черных, с белыми фартучками на груди, вылетели из чащи, облюбовали молодую сосенку, побегали по ней вверх-вниз, помелькали красными хохолками, постучали, ничего не нашли, снялись и низким летом опять скрылись в кустах.

«Тоже — парой *летают*», — подумал Спирька. Еще он подумал, что люди завидуют птицам... Говорят: «Как птаха небесная». Позавидуешь. Еще Спирька подумал, что, наверно, учитель выбросил те цветы, которые Спирька привез учительнице, наверно, они лежат под окном, завяли... Красивые такие цветочки, красные. Спирька усмехнулся. Пижон Спиря... Здесь тоже есть цветочки. Вон они: синенькие, беленькие, желтенькие... Вон саранка цветет, вон медуница... А вон пучка белые шапки подняла вверх. Спирька любил запах пучки. Встал, сорвал тугую горсть мелких белых цветочков, собранных в плотный, большой, как блюдце, круг. Сел опять на пенек, растер в ладонях цветки, погрузил лицо в ладони и стал жадно вдыхать прохладный, сыроватотерпкий, болотный запах небогатого, неяркого местного цветка. Закрыл ладонями лицо и так остался сидеть. Долго сидел неподвижно. Может, думал. Может, плакал...

...Спирьку нашли через три дня в лесу, на веселой полянке. Он лежал уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как же он стрелял? Попал в сердце, а лежал лицом вниз... Из-под себя как-то изловчился.

Привезли, схоронили.

Народу было много. Многие плакали...

НЕПРОТИВЛЕНЕЦ МАКАР ЖЕРЕБЦОВ

Всю неделю Макар ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению. Учил жить — по возможности, весело, но благоразумно, с «пониманием многомиллионного народа».

Он разносил односельчанам письма. Работу свою ценил, не стыдился, что он, здоровый, пятидесятилетний, носит письма и газетки. Да пенсию старикам.

Шагал по улице — спокойный, сосредоточенный.

Его окликали:

— Макар, нету?

— Ты же видишь — мимо иду, значит, нету.

— Чего же нету-то? Пора уж. Черти окаянные.

Макар подходил к пряслу, вешал свою сумку на колышек, закуривал.



— Сколько у нас, в СССР, народу?

Старуха не знала.

— Дьявол их знает, сколько? Много небось.

— Много. — Макар тоже точно не знал сколько. — И всем надо выдать пенсию...

— Чего же всем-то? Все — зарплату получают.

— Ну, я неправильно выразился. Кто заслужил. Так?

— Ну? Чего ты опять?

— Спокойно. Тебе государство задержало пенсию на один день, и ты уже начинаешь возвышать голос. Сама злишься, и на тебя тоже глядеть тошно. А у государства таких, как ты, — миллионы. Спрашивается, совесть-то у вас есть или нету? Вы что, не можете потерпеть день-другой? Вы войдите тоже в ихное-то положение...

Старухи обижались. Старики посылали Макара... дальше.

Макар шел дальше.

— Семен, ездил к сыну-то?

— Ездил...

— Ну, как?

— Никак. Как пил, так и пьет. С работы опять прогнали, свистуна.

— Ну, ты, конечно, коршуном на него. Такой-сякой-разэдакый!..

— А как же мне с им? Петя, сынок, уймись с пьянкой?..

— Да где там! Ты и слов-то таких не знаешь. Ты привык языком-то, как оглоблей ломить... Самого, дурака, с малых лет поленом учили, ты думаешь, и всегда так надо. Теперь совсем другая жизнь...

— Раньше так пили, как он заливается? Другая жизнь...

— А ты войди в его положение. Он — молодой, дорвался до вольной жизни, деньжаты появились... Ведь тут какую силу воли надо иметь, чтоб сдержаться?

Конскую. С другой стороны, его тоска гложет — оторвался от родительского дома. Ты вон в город-то на неделю уедешь, и то тебя домой манит, а он сколько уж лет там. Он небось сходит ;в кино, поглядит про деревню — и пойдет выпьет. Это же все понимать надо.

— Ты, лоботряс, только рассуждать умеешь. А коснись самого, не так бы запел. Ходишь по деревне, пустозвонишь... Пустозвон.

— Я вас учу, дураков. Ты приехай к нему, к Петьке-то, да сядь выпей с ним...

— У тебя прям не голова, а сельсовет.

— Да. Выпей. А потом к нему потихоньку в душу: сократись, сынок, сократись, милый. Ведь мы все пьем по праздникам... Праздничек подошел — выпей, прошел праздничек — пора на работу, а не похмеляться. Та-ак. А как же? Поговорить надо, убедить человека. Да не матерным словом, а ласковым, ласковым, оно, глядишь, скорей дойдет.

— Его надо поленом по башке, а не ласковым словом.

— Во-от. Я и говорю: бараны. Рога на лбу выросли — и довольные: бодаться можно. А ты же человек, тебе разум даден, слово доходчивое...

— Иди ты!..

— Эх, вы.

Макар шагал дальше, и сердце его сосала, сладко прикусывая, жирная, мягкая змея, какая сосет сердца всех оскорбленных проповедников.

Иногда дело доходило до оплеух.

У Ивана Соломина жена Настя родила сына. Иван заспорил с Настей — как назвать новорожденного. Иван хотел — Иваном: Иван Иванович Соломин. Настя хотела, чтоб был — Валерик. Супруги серьзно поссорились. И в это-то самое время Макар принес им письмо от сестры Настиной, которая жила с мужем в Магадане и писала в письмах, что живут они очень хорошо,

что у них в доме только одной живой воды нет, а так все есть, «но, сами понимаете в концервах, так как климыт здесь суровый».

Макар посмотрел красный безымянный комочек, поздравил родителей... И те, конечно, схватились перед ним — каждый свое доказывать.

— Иван!.. Иванов-то нынче осталось — ты да Ваня-дурачок в сказке. Умру — не дам Ванькой назвать! Сам как Ваня-дурачок...

— Сама ты дура! Счас в этом деле назад повернули, к старому. Посмотри в городах...

Макар весь подобрался, накогтился — почуял добычу.

— Спокойно, Иван, — сказал он хозяину. — Не обзывайся. Даже если она тебе законная жена, все равно ты ее не имеешь права дурачить. Она тебе — Ваня-дурачок, допустим, а ты ей — несмышленыш мой, или еще как-нибудь. Ласково. Ей совестно станет, она замолчит. А не замолчит — сам замолчи. Скрестись и молчи.

— Иди отсюда, миротворец!

— И меня не надо посылать. Зачем меня посылать? Ты меня послушай, постарайся сперва понять, а потом уж посылай. Ведь я к тебе не с войной пришел, не лиходей я тебе, а, по новым законам, — твой друг и товарищ. И хочу вам подать добрый совет: назови-ка ты сынка своего Митей — в честь свояка магаданского. Ведь они вам и посылки шлют и деньжат нет-нет подкинут... А напиши-ка ему, что вот, мол, свойчок, в честь тебя сына назвал — Митрием. Он бы где — одну посылку, а тут подумает-подумает да две ахнет. А как же: в честь меня сына назвали, это бо-ольшое уважение. За уважение люди тоже уважением плотют.

Иван чего-то озверел.

— Иди отсюда, гад подколодный! Чего ты лезешь не в свое дело?!

Макар посмеялся кротко, снисходительно, ласково. Он знал драчливый характер Ивана.

— Ах, пошуметь бы?.. Ах, бы да сейчас развоеваться бы?.. Эх, ты! Ваня и есть.

Иван и в самом деле взял почтальона за шкирку, подвел к двери и дал пинка под зад.

— За совет!

Макар пошагал дальше по улице. Потирал ушибленное место и шептал:

— Нога у дьявола — конская.

И начинал рассказывать встречным:

— Иван Соломин... Зашел к нему, у них пыль до потолка: не могут имя сыну придумать. Я и подскажи им: Митрий. У него свояк в Магадане — Митрий...

Но Макара не хотели слушать — некогда. Да и мало на селе в летнюю пору встречных.

И вот наступало воскресенье. В воскресенье Макар не работал. Он ждал воскресенья. Он выпивал с утра рюмочку-две, не больше, завтракал, выходил на скамеечку к воротам... Была у него такая скамеечка со столиком, аккуратная такая скамеечка, он удобно устраивался — нога на ногу, закуривал и, поблескивая повлажневшими глазами, ждал кого-нибудь.

— Михеевна!.. Здравствуй, Михеевна! С праздничком!

— С каким, Макар?

— А с воскресеньем.

— Господи, праздник!..

— Сын-то не пишет? Что-то давненько я к тебе не заходил...

— Некогда, поди-ка, расписываться-то. Тоже — не курорт — шахты-то эти.

— Всем им, подлецам, некогда. Им водку литрами жрать — на это у них есть время. А письмо матери написать — время нет. Пожалуйся на него директору шахты. Хошь, я сочиню? Заказным отправим...

— Ты што, сдурел, Макар? На родного сына стану директору жалиться!

— Можно хитрей сделать. Можно послать телеграмму: мол, беспокоюсь, не захворал ли? Его все равно вызовут...

— Тьфу, дьявол! Тебе што, делать, што ль, нечего, — выдумываешь сидишь?

— А учить подлецов надо, учить.

Старуха, злая, обиженная за сына, шла дальше своей дорогой.

— Боров гладкий, — бормотала она, — ты их нарожай сперва своих, потом жалься. Подымется ли рука-то?

— Человека — пока не стукнет, до тех пор он не поймет, — говорил сам с собой Макар. — На судьбу обижаемся, а она учит, матушка. Учит.

Проходили еще люди. Макар заговаривал со всеми, и все в таком же духе — в воскресном. Подсказывал, как можно теще насолить, как заставить уважать себя дирекцию совхоза. Надо только смелей быть. Выступать подряд на всех собраниях и каждый раз — против. Они сперва окрысятся, попробуют ущемить как-нибудь, а ты на собрании и про это. Важно — не сдаваться. Когда они поймут, что с тобой ничего нельзя сделать, тогда начнут уважать. А то еще и побаиваться станут — грешки-то есть. У кого их нету?

— Дак ведь возьмут да выгонют.

— А куда выгонять-то? Дальше-то?.. Это ж не с завода.

Где-нибудь часа так в два пополудни к Макару выходил дед Кузьма, выпивоха и правдолюб. Опохмелиться у него никогда денег не было.

— Дай на бутылку. Во вторник поплывем с зятем рыбачить, привезу рыбки.

Макар давал рубль двадцать — на плодово-ягодную. Только просил:

— Приходи здесь пить. А то поговорить не с кем.

Дед приносил бутылку плодово-ягодной, выливал стакан, и ему сразу легчало.

— Вчерась перебрали с зятем. Тоже лежит мучается.

— Отнеси стаканчик.

— Ничо, оклимается — молодой. Мне этой самому — только-только.

— Жадный.

— Н е т , — просто говорил дед.

— А взять-то тоже не на что? Зятю-то.

— Да есть у Нюрки... Она рази даст. Тут хоть подохни. Как жена-то?

— Хворает.

— Ты ее, случаем, не поколачиваешь тайком? — чего она у тебя все время хворает...

— Ни разу пальцем не тронул. Так — организм слабый.

— Чудной ты мужик, Макар. Не пойму тебя. Нашенских, кто на глазах рос, всех понимаю, а тебя никак не пойму.

— Чем же я кажусь чудной? — искренне интересовался Макар.

— Ну, как же? Подошло воскресенье — ты сидишь день-деньской сложа ручки. Люди ждут не дождутся этого воскресенья, штоб себе по хозяйству чего-нибудь сделать, а тебе вроде и делать нечего.

— А на кой оно мне... хозяйство-то?

— Вот то и чудно-то. Ты из каких краев-то? Или я уж спрашивал?

— Недалеко отсюда. Что мне его, хозяйство-то, в гроб с собой?

— Ну, тебе до гроба шло... Поживешь. Работа — не бей лежачего. И не совестно ведь! — искренне изумлялся д е д . — Неужель не совестно?

— Ни на вот эстолько. — Макар показывал кончик мизинца.

— А пошто, например, ты то одно людям говоришь, то другое — совсем наоборот? Чего ты их путаешь-то?

Макар глубокомысленно думал, глядя в улицу, потом говорил. Похоже, всю правду, какую знал про себя.

— Не для этой я жизни родился, дед...

— Для какой же?

— Сам не знаю. Вот говоришь — путаю людей. Я сам не знаю, как мне их: жалеть или надсмехаться над ними. Хожу, гляжу — охота помочь советом каким-нибудь. Потом раздумаешься: да пошли вы все!..

— Хм.

— Так вот ходишь неделю, тыкаешься в ихные дела... Потом придет воскресенье, и я вроде отдыхаю. Давайте, думаю, черти, — гните дальше. А я еще какую-нибудь пакость подскажу.

— Во стерьва-то!

— Ей-богу! А завтра опять пойду по домам, опять полезу с советами. И знаю, что не слушают они моих советов, а удержаться не могу. Мне бы — в большом масштабе советы-то давать, у меня бы вышло. Ну, подучиться, само собой... У меня какой-то зуд на советы. Охота учить, и все, хоть умри.

— Да и учил бы одному чему, а то, как...

— Да я и хочу! Но ведь я им одно, они меня по матушке. А то и — по загривку. Ванька вон Соломин... так и пустил с крыльца.

— Эхэ!.. У того не заржавит.

— А я для его же пользы — назови, мол, сыночка-то Митей, в честь свояка, свояк-то в лепешку расшибется — будет посылки слать. Какая ему, дураку, разница — Митя у него будет расти или Ваня? А жить все же маленько полегче было бы — свояк-то там, на Севере, тыщи ворочает... А так-то я их не презираю, людей-то. Наоборот, мне их жалко бывает.

Старик допивал остатки вина, поднимался.

— И все-таки стерьва ты, — говорил беззлобно.

— Что, пошел?
— Пойду... Зять теперь очухался, погреб небось копает. Он с похмелья злой на работу. Помочь надо. Рыбки-то занесу килограмма два. Во вторник.
— Ладно, сгодится. Я до ухи любитель.
— Спасибо, што выручил.
— Не за что.
Дед уходил. А Макар оставался сидеть на скамеечке, глядел на село, курил.
Иногда из дома выходила больная жена — к теплу, к солнышку. Присаживалась рядышком.
— Вот ведь сколько домов!.. — раздумчиво, не глядя на жену, говорил Макар. — И в каждом дому — свое. А это — только одна деревня. А их, таких деревеньто, по России — оё-ёй сколько!..
— Много, — соглашалась жена.
— Много, — вздыхал Макар. — Много.

ДЯДЯ ЕРМОЛАЙ

Вспоминаю из детства один случай.

Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо — синим-сине, и уж дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил.

— Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей. — Ему охота было домолотить скирду. Но... все уж собирались, и он скрепя сердце тоже стал собираться.

До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, синева наползла, но дождя, правда, не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль... Во тьме трепетно вспыхивали молнии и гремел гром. Ветер рвал, носил, а дождя не было.



— Самая воровская ночь, — сказал дядя Ермолай. — Ну-ка, Гришка... — дядя Ермолай поискал глазами, я попался ему. — Гришка с Васькой, идите на точок — там ночуете. А то как бы в такую-то ночку не подъехал кто да не нагреб зерна. Ночь-то... самая такая.

Мы с Гришкой пошли на ток.

Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю; вспыхивало и гремело со всех сторон! Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым — резко, горьковато. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь.

Когда вверху вспыхивало, все на земле — скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони, — все как будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала все; сверху гремело гулко, уступами, как будто огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались.

Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит: опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем, резком свете, и все опять исчезло, и в кромешной тьме грохотали вниз огромные камни.

— Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем, — предложил Гришка.

— Давай, конечно.

— А утром скажем, что ночевали на точке, кто узнает?!

Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому. Поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше... И не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь.

Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы, конечно, проспали. Но так как ночью промочило, на-

ши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом.

— Ну, караульщики, — спросил дядя Ермолай, увидев нас, мне показалось, что он смотрит пытливо. — Как ночевали?

— Хорошо.

— Все там в порядке? На точке-то?

— Все в порядке. А что?

— Ничего. Спрашиваю... Я посылал, я и спрашиваю. «А что?» — А сам все смотрит. Мне стало не по себе. — Зерно-то целое?

— Целое. — У Гришки круглые, ясные глаза; он смотрит не мигая. — А что?

— Да вы были там?! На точке-то?

У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся... Хлоп-хлоп глазами.

— Как это «были»?..

— Ну да, были вы там?

— Были. А где же мы были?

Эх, тут дядя Ермолай взвился.

— Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под суслоном ночевали, а говорите — на точке! Сгребу вот счас обоих да носом — в точок-то, носом, как котов пакостливых. Где ночевали?

— От... Ты чо?

— Где ночевали?!

— На точке. — Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.

— Васька, где ночевали?

— На точке.

— Да растудыт вашу туда-суда и в ребра!.. — Дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. — Ты гляди, что они вытворяют-то! Да не было вас на току, не было-о! Я ж был там! Ну?! Обормоты вы такие, обормоты! Я ж следом за вами пошел туда — думаю, дошли ли они хоть? Не было вас там!

Это нас не смутило, — что он, оказывается, был на току.

— Ну и что?

— Что?

— Ну и... мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже... Мы блудили.

— Где попозже?! — взвизгнул дядя Ермолай. — Где попозже-то?! Я там весь дождь пережда́л! Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там!

— Были...

Дядя Ермолай ошалел... Может быть, мы — в глазах его — тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони — отчего-то у него глаза сделались большие и удивительные.

— Были?

— Были.

Он схватил узду... Мы — в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.

— Обормоты, — говорил он на ходу. — Не были же, не были — и в глаза врут стоят. Штыбы бы вам околеть, не доживая веку! Штыбы бы вам... Жоны злые попались!.. Обормоты. В глаза врут стоят — и хоть бы что! О!.. — Дядя Ермолай повернулся к нам. — Да ты скажи честно: испужались, можеть, не нашли — нет, в глаза смотрют и врут. Обормоты... По пять трудодней снимаю, раз вы такие.

Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.

— Гришка, Васьк... сознайтесь: не были на точке? По пять трудодней не сниму. Не были же?

— Были.

Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас... Потом позвал с собой.

— Идите суда... Идите, идите. Вот тут вот я отдож-

дя прятался. — Показал. И посмотрел на нас с мольбой. — А вы где же прятались?

— А мы — с той стороны.

— С какой?

— Ну, с той.

— Да где же с той-то?! Где с той-то? — Он опять стал терять терпение. — Я же шумел вас, звал!.. Я ее кругом всю обошел, скирду-то. А молонья такая резала, что тут не то что людей, иголку на земле найдешь. Где были-то?

— Тут.

Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтоб опять не взвиться. Опять сморщился...

— Ну, ладно, ладно... Вы, можеть, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно окажите: где ночевали? Не скину по пять трудодней... Где ночевали?

— На току.

— Да где на току-то!! — сорвался дядя Ермолай. — Где на току-то?! Где, когда я... У-у, обормоты! — Он заискал глазами — чем бы огреть нас.

Мы убежали.

Дядя Ермолай ушел за скирду... Опять, наверно, всплакнул.

Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте:

«Емельянов Ермолай...вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю — стою над могилой, думаю. И дума моя о нем — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В

том именно, как они ее прожили. Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю иначе! Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?

БЕССОВЕСТНЫЕ

Старик Глухов в шестьдесят восемь лет овдовел. Схоронил старуху, справил поминки... Плакал. Говорил:

— Как же я теперь буду-то? Один-то?

Говорил — как всегда говорят овдовевшие старики. Ему, правда, было горько, очень горько, но все-таки он не думал о том, «как он теперь будет». Горько было, больно,и все. Вперед не глядел.

Но прошло время, год прошел, и старику и впрямь стало невмоготу. Не то что он — затосковал... А, пожалуй, затосковал. Дико стало одному в большом доме. У него был сын, младший (старших побило на войне), но он жил в городе, сын, наезжал изредка — картошки взять, капусты соленой, огурцов, медку для ребятишек (старик держал шесть ульев), сальца домаш-



него... Но наезды эти не радовали старика, только раздражали. Не жалко было ни сальца, ни меда, ни огурцов... Нет. Жалко, и грустно, и обидно, что родной сын — вроде уж и не сын, а так — пришей-пристебай. Он давал сыну сальца, капусты... Выбирал получше. Молчал скрепив сердце, не жаловался. Ну, пожалуйся он, скажи: плохо, мол, мне, Ванька, душа чего-то... А чего он, Ванька? Чем поможет? Ну, повздыхают вместе, разопьют бутылочку, и он уедет с чемоданом в свой город-городок, к семье. Такое дело.

И надумал старик жениться. Да. И невесту присмотрел.

Было это 9 мая, в День Победы. Как всегда, в этот день собралось все село на кладбище — помянуть погибших на войне. Сельсоветский стоял на табуретке со списком, зачитывал:

— Гребцов Николай Митрофанович.

Гуляев Илья Васильевич.

Глухов Василий Емельянович.

Глухов Степан Емельянович.

Глухов Павел Емельянович...

Эти три — сыны старика Глухова. Всегда у старика, когда зачитывали его сынов, горе жесткими сильными пальцами сдавливало горло, дышать было трудно... Он смотрел в землю, не плакал, но ничего не видел. И долго стоял так. А сельсоветский все читал и читал:

— Опарин Семен Сергеевич.

Попов Иван Сергеевич.

Попов Михаил Сергеевич.

Попов Василий Иванович...

Тихо плакали на кладбище. Именно — тихо, в уголки полушалков, в ладони, вздыхали осторожно, точно боялись люди, что нарушат и оскорбят тишину, какая нужна в эту минуту. У старика немного отпускало, и он смотрел вокруг. И каждый раз одинаково думал: «Сколько людей загублено!»

И тут-то он приметил в толпе старуху Отавину. Она была нездешняя, хоть жила здесь давно, Глухов ее знал. У старухи Отавиной никого не было в этом скорбном списке, но она со всеми вместе тихо плакала и крестилась. Глухов уважал набожных людей. За то уважал, что их — преследуют, подсмеиваются над ними... За их терпение и неколебимость. За честность. Он присмотрелся к Отавиной... Горбоносая, дюжая еще старушка, может легкое огородом управиться, баню истопить, квашню замесить и хлеб выпечь. Старик не мог есть «казенный хлеб» — из магазина. И вдруг подумал старик: «Тоже ведь одна мается... А?»

Пришел домой, выпил за сынов... И стал вплотную думать: «Продала бы она свою избенку, перешла бы ко мне жить. А деньги за избу пусть на книжку себе положит. И пусть живет, все не так пусто будет в доме. Хоть в баню по-человечески сходить, полежать после баньки беззаботно... На стол — есть кому поставить, есть кому позвать: «Садись, Емельян». Жилым духом запахнет в доме! Совсем же другое дело, когда в кути, у печки, кто-нибудь громыхает ухватами и пахнет опарой. Или ночью, когда не спится, можно потихоньку поговорить... Можно матернуть бригадира колхозного, например. Она, правда, набожная, Отавиха-то, но можно же другие слова найти, не обязательно материться. У самого дело к концу идет, к могиле, — хватит, наматерился за жизнь. Да нет, если бы она пришла, было бы хорошо. Как ты ни поворачивайся, а хозяйка есть хозяйка». Так думал старик. Даже взволновался.

И вот выбрал он воскресный день, пошел к Ольге Сергеевне Малышевой, тоже уже старушке, но помоложе Отавихи, побашковитей. Эту Ольгу Сергеевну старик Глухов когда-то тайно очень любил. Тогда он был не старик, а молодой парень, и любил красивую, вздорную Ольгу. Помышлял слать к Малышевым сватов, но

началась революция... Объявился на селе некий молодец-комисссар, быстро окрутил сознательную Ольгу, куда-то увез. Увезти увез, а сам где-то сгинул. Наверно, погиб в бою. А Ольга Сергеевна вернулась домой и с тех пор жила одна. Как-то, тоже по молодости, но уже будучи женатым, Емельян Глухов заперся к Ольге Сергеевне в сельсовет (она работала секретарем в сельсовете) и открыл ей свое сердце. Ольга Сергеевна рассердилась, заплакала и оказала, что после своего орла-комиссара она никогда в жизни никого к себе близко не подпустит. Глухов попытался объяснить, что он — без всяких худых мыслей, а просто сказать, что вот — любил ее (он был выпивши). Любил. Что тут такого? Ольга Сергеевна пуще того обиделась и опять стала говорить, что все мужики не стоят мизинца ее незабвенного комиссара. И так она всех напугала этим своим комиссаром, что к ней и другие боялись подступиться. Но прошло много-много лет, все забылось, все ушло, давно шумела другая жизнь, кричала на земле другая — не ихняя — любовь... И старик Глухов и пенсионерка Ольга Сергеевна странным образом подружились. Старик помогал одинокой по хозяйству: снег зимой придет разгребет, дровишек наколет, метлу на черенок насадит, крышу на избе залатает... Посидят, побеседуют. Малышева поставит четвертинку на стол... Глухов все побаивался ее и неумеренно хвалил Советскую власть.

— Ведь вот какая... аккуратная власть! Раньше как: дожил старик до глубокой старости — никому не нужен. А теперь — пенсия. За што мне, спрашивается, каждый месяц по двадцать рублей отваливают? Мне родной сын — пятерку приедет сунет, и то ладно, а то и забудет. А власть — легулярно — получи. Вот они, комиссары-то, тогда... они понимали. Они жизни свои клали. — за светлое будущее. Я советую, Ольга Сергеевна, стать и почтить ихную память.

Ольга Сергеевна недовольно говорила на это:

— Сиди. Чего теперь?.. Нечего теперь.

Она теперь редко вспоминала комиссара, а больше рассказывала, как на нее «накатывает» ночами.

— Вот накатит-накатит — все, думаю, смертынька моя пришла...

— А куда накатывает-то? На грудь?

— А — на всю. Всю вот так вот ка-ак обдаст, ну, думаю, все. А после рассла-абит всю — ни рукой, ни ногой не шевельнуть. И вроде я плыву-у куда-то, плыву-у, плыву-у.

— Да,— сочувствовал Глухов. — Дело такое — таки уплывешь когда-нибудь. И не приплывешь.

После того как старик Глухов схоронил жену, он еще чаще наведывался к Малышевой. Чего-нибудь делал по хозяйству, а больше они любили сидеть на веранде — пили чай с медом. Старик приносил в туеске мед. Беседовали.

— Тоскуешь? — интересовалась Малышева.

Глухов не знал, как отвечать — боялся сказать не так, а тогда Малышиха пристыдила бы его. Она часто — не то что стыдила его, а давала понять, что ему хоть и семьдесят скоро, а стоит больше ее слушать, а самому побольше молчать.

— Тоскуешь?

— Так...— неопределенно говорил Глухов. — Жалко, конечно. Все же мы с ей... — пятьдесят лет прожили.

— Прожить можно и сто лет... А смысл-то был? Слоны по двести лет живут, а какой смысл?

Глухов обижался:

— У меня три сына на войне погибли! А ты мне такие слова...

— Я ничего не говорю, — спускала Малышиха. — Они погибли за Родину.

— Тоскую, конечно, — уже смелее говорил Глухов. — Сколько она пережила со мной!.. Терпела. Я

смолоду дураковатый был, буйный... Все терпела, сердешная. Жалко.

— Сознание, сознание... — вздыхала Малышева. — Тесать вас еще и тесать! Еще двести лет тесать — тогда только на людей будете похожи. Вот прожил ты с ей пятьдесят лет... Ну и что? И сказать ничего не можешь. У меня в огороде бурьян растет... тоже растет. А рядом — клубника виктория. Есть разница??

— Ты чего сердишься-то? — не понимал Глухов.

— Есть разница, я спрашиваю?

— Сравнила... телятину с козлятиной.

— И буду сравнивать! Потому что один человек живет — горит, а другой — тлеет. У одного — каждая порочка содержанием пропитана, а другие... делают только свое дело, и все. Жеребцы.

— Не всем же комиссарами быть! — сердито возражал Глухов, обиженный за «жеребца».

— Пятьдесят лет прожил, — передразнивала Малышева. — А из них — неделя наберется содержательная?

— Ну, содержания-то, слава богу, хватало, чего доброго. С избытком.

— Оно и в,идно! — Малышева собирала губы в куриную гузку. — Жеребцы.

Глухов чувствовал, что чем-то он ее злит, но никак не мог понять чем.

И все же он продолжал ходить к Малышевой. Иногда — так вот — поругивались, иногда ничего, мирно расходились. И вечер, глядишь, проходил незаметно.

В это воскресенье Глухов пришел к Малышевой без ничего — без топора, без ножовки. Пришел поговорить. Посоветоваться. Пришел просить помощи.

— Я, Сергеевна, за советом. Помоги.

— Что такое случилось? — навострилась Малышева. Она любила давать советы.

— Ты старуху Отавину знаешь?

— Ну.

— Поговорила бы ты с ей — не согласится ли она ко мне в дом перейти? А свою избу пускай продаст. Или так: пускай пока заколотит ее, поживем — уживемся — тогда уж пускай продает. Чтоб не рисковать зря. Как думаешь? Я один не осмелюсь с ей говорить, а ты сумеешь. Я не обижу ее... На четырех-то ногах, хошь они у нас не резвые теперь, но все же покрепче стоять можно. Как думаешь? — Глухов непривычно для себя много и скоро тараторил — ему было неловко. — Думал я, думал и вот — надумал. Чижало одному, ну ее к черту. Да и ей, я думаю, тоже полегче будет. Как думаешь?

Малышева очень была удивлена. Так была удивлена, что сперва не нашлась, что сказать путное.

— Жениться собрался?

— Ну, жениться... это... какая уж это женитьба? Так — сойдемся для облегчения.

— Юридически — это все равно женитьба. Чего ты хвостом-то виляешь?

Глухов опешил.

— Ну, жениться. А что — это не поощряется?

Малышева внимательно и как-то с отчуждением, с каким-то скрытым враждебным значением посмотрела на старика.

— А она согласна? Хотя, ты говоришь, не успел с ей...

— Не знает она! Вот и пришел-то просить: поговорила бы ты с ей. Где поговорила, где и — уговорила. Она старушка верующая, может, окажет — грех... А какой грех? Так-то разобраться-то. Я одинокий, она тоже одинокая...

— У нее дочь в городе.

— Да это-то!.. Это и у меня вон сын в городе. Толку-то от их нынче. А мы бы как-нибудь и скоротали бы остаток жизни-то. Кто первый помер — есть кому схоронить.

— У вас же дети! — вдруг нервно возвысила голос Малышева. — Чего вы сиротинками-то казанскими прикидываетесь?

Глухов замолк. И в свою очередь внимательно и сердито посмотрел на Малышиху. Чего она злится? Она же вся изозлилась. Чего?

— Ты чего, Сергеевна? — опросил.

— Я ничего. Вы жениться-то надумали, не я. А ты меня спрашиваешь: чего я? Я-то ничего.

— Чего-то сердишься...

— Да нисколько! Вона — буду я еще сердиться. Женитесь! Поговорить надо с Отавихой? Поговорю, — теперь засуетилась Малышева, затараторила тоже. — Позову ее, и поговорим, мне не трудно. Узнаю: согласна она или нет? Чего же мне сердиться? Смеяться-то над вами, шутами, будут, не надо мной.

— Как так?

— Что?

— Смеяться будут?

— А что — радоваться?

— Да разве не бывает так — старики сходются...

— Бывает, бывает. Давай завтра приходи в обед... Я ее позову пораньше, обговорю с ей сперва, а ты попозже, к обеду, приходи. Бывает так, бывает. Сколько угодно! Я поговорю с ей, не беспокойся. Поговорю.

Старик Глухов ушел от Малышевой с неясным чувством. Какой-то подвох чуял со стороны Малышихи. Странная какая-то старуха, ей-богу. Чего-то все нервничает, злится. Всех бы она переделала, перекроила... Всех бы она учила жить, всех бы судила. Старик даже подумал: не вернуться ли да не сказать ей, что — не надо никакой ее помощи, сам как-нибудь управлюсь. Даже остановился и постоял. И решил, что — ладно, черт с ней, пусть поговорит. У самого все равно не так выйдет — не сумеет ладом поговорить. Пусть злится, а дело пусть сделает.

На другой день у старушек — Малышевой и Отавиной — состоялось свидание. И состоялся разговор.

Отавиха пришла к Малышевой, первым делом глянула в передний угол (нет ли иконки?), скромно присела на краешек плюшевого дивана. Поздоровалась.

— Я чего призвала тебя, — сразу начала Малышиха, — Глухова старика знаешь?

— Емельян Егорыча? Знаю, как же. У его трех сынов убило...

— Так вот он хочет на тебе жениться. — Малышева отчеканила слова, как семь аккуратных пельменей загнула. — Ты согласна?

— Свят, свят, свят! — перекрестилась Отавиха. — Да он что?!

— А что? — как-то даже развеселилась Малышиха. — Вы одинокие... Ты подумай, подумай сперва, не торопись отвечать. Он такой же козел, как все, но поможет дожить остаток жизни. Как сама-то думаешь? Избу, говорит, можно пока не продавать, можно заколотить; если уживетесь, тогда уж можно, мол, продать, а деньги — на книжку. Как думаешь-то?

— Да как я могу думать? — искренне не знала старуха Отавина. — У меня и думы-то все из головы убежали. Как же — с бухты-барахты — выходи замуж. — Отавиха мелко, искренне посмеялась. — Эдак-то рассудка можно лишиться. Вот так невеста!

— Ну, и он тоже — жених. Как все же?

— Да погоди ты, Сергеевна, не колготись, дай с духом собраться...

— Он придет счас. За ответом.

— Эка! — Отавиха даже привстала с дивана и поглядела на дверь. И опять села. — Вот задача-то!

— Ну, я гляжу, ты уж почти согласная.

Старуха Отавина вдруг серьезно задумалась.

— Я тебе так скажу, Сергеевна: он старик ничего, не пьет, не богохульничает особо, я не слышала... Толь-

к о . . . — Отавина посмотрела на сваху. — Так-то бы оно — што? Бывает — сходются старики, живут...

— Бывает.

— А ну-ка да он ночами приставать станет?

Малышева даже рот открыла.

— Как?

— А как? Так. Они знаешь какие! Перьво-наперьво, я бы желала знать и быть в надежде, што он приставать не станет. И штоб не матерщинничал. Табак курит... Ну, тут уж... все курют, тут не укоротишь.

— Так ты согласная? — изумилась Малышева.

— Погоди-ка, не гони-ка коней. Я вот и говорю: много у меня всяких условиев получается. То — нельзя, эго — нельзя... А старик подумает да и скажет: «Чего же тада и можно-то?» И все наше сватовство-то само собой и распадется. — Отавиха опять мелко засмеялась. — Вот не думала, не гадала... Господи, господи. Оно бы — так-то чего? У меня вон товарка моя задушевная бывшая в Буланихе, где я раньше жила, тоже вот так вот: пришел старик, тары-бары, а потом и говорит: «Давай, мол, Кузьмовна, вместе жить». И жили. Он, правда, уж умер года два как... А она живет в его доме. И хорошо жили, я знаю. Сколько?.. Годов пять жили. Ничо, не обижал ее. К концу-то жизни люди умней делаются. Счас вон... поглядишь на нонешних-то... господи, господи!.. Поглядишь, и ничего не скажешь. Оно бы, знамо, и мне в покое бы дожить да в тепле... Избенка-то у меня вся прохудилась, рада, что уж зима кончилась — никак ее не натопишь. Топишь-топишь, топишь-топишь, а все как под решетом.

— А к дочери-то почему не едешь?

— Куда-а! Сами ютятся там на пятачке... Жила. Внуки-то маленькие были, жила. Измучились. Все измучились. А теперь уж ребятишки-то в школу пошли, так я уж рада-радешенька, хоть мне эту-то избенку купили. Свой-то дом в Буланихе я продала. Когда дочь-

то замуж-то вышла, продала. Крестовый дом был, сто лет ишо простоит. Продала, што сделаешь. Им на капиратив надо, а где взять? Он с армии демобилизовался, зять-то, моя тоже — техникум только закончила. Давай, мол, мама, продадим дом. А тебе, мол, потом купим, если с нами жить не захочешь. Вот и жила, ребятишек вынянчила, а потом уж — нет, давайте, говорю, покупайте мне хоть маленькую избушку. Не могу в городе, с души воротит. Ну, помялись, помялись, нашли денег на избу. В Буланихе-то постройки дорогие, здесь подешевше, вот я здесь и оказалась. Оно бы, конешно, так-то... на старости-то лет... в тепле бы пожить... Не мешало бы.

Старик Глухов знал, что разговор у старух состоится, но какой, не ведал. На всякий случай он надел новый пиджак, прихватил бутылочку наливки, туесок меду и пошел к Малышевой.

Пришел... Поздоровался. Смутился чего-то, поставил на стол бутылку, туесок... Полез за кисетом.

— Ты погоди с бутылкой-то, погоди, — сказала Малышиха. — Не торопись.

У старика упало сердце. А он уж крепко настроился на совместную жизнь с Отавиной, все продумал — выходило все хорошо. Что же?

— Выслушала я вас обоих... Конечно, это ваша личная жизнь, вы можете сходиться... Люди с ума сходят, и то ничего. Но хочу все же вас спросить: как вам не совестно? А? — Малышева бросала эти слова в лицо Глухову и Отавиной. С какой-то необъяснимой жестокостью, от всего сердца, наболевшего тайной какой-то болью, бросала. Бросала и бросала, как ни краснели, ни вертелись на месте, как ни страдали эти, потерявшие всякую совесть жених и невеста. — Как же вы после этого на белый свет глядеть будете? А? Да люди всю жизнь живут одинокие... Я всю живу одинокая, с

двадцати трех лет одинокая... А что, ко мне не сватались? Сватались. Не ходили по ночам, не стучали в окошко? Ходили. Стучали. Ты, Глухов, не приходил ко мне в сельсовет, не говорил, что жить без меня не можешь? Не приходил? Ну-ка, скажи.

Глухов готов был сквозь землю провалиться.

— Я по дурости... выпимши был, — признался он. — Я не сватался... Чего ты? Зря-то. Я, мол, в те годы, когда-то...

— По дурости! А теперь он умный стал — в семьдесят лет жениться надумал. Умник. А ты-то, ты-то!.. «Посмотрю, подумаю... в тепле пожить». Эх ты, богомольница! Туда же... На других пальцем показываете — грех. А сами? Какой же вы пример подаете молодым! Вы об этом подумали? Вы свою ответственность перед народом понимаете? — Малышиха постучала сухими костяшками пальцев по столу. — Задумались вы над этим? Нет, не задумались. Эгоисты. Народ сил своих не жалеет — трудится, а вы — со свадьбой затеетесь... на выпивку людей соблазнять и на легкие отношения. Бессовестные.

— Да какая свадьба?! — воскликнул Глухов. Отавиха, та слова не могла вымолвить. — Сошлись бы потихоньку, и все. Какая свадьба?

— Совсем, как... подзаборники. Тьфу! Животныи.

— Ну, это!.. знаешь! — взорвался старик. — Пошла ты к... — И выругался матерно. И вышел вон, крепко хлопнув дверью.

А за ним следом вышла и Отавиха. Какой — вышли, вылетели, как ошпаренные. За воротами, не глядя друг на друга, устремились в разные стороны, хоть обоим надо одним переулком идти — до росстани.

Старик Глухов дал по селу хорошего кругаля и пришел домой. И плевался, и матерился, места не мог найти... Сгоряча даже подумал: «Подожгу, стервозу такую!»

Он, конечно, не поджег Малышеву. Но ходить к ней зарекся. А когда встречал ее на улице, отворачивался. Не здоровался.

А Отавиха в город ездила, в церковь, — грех замаливать. Очень страдала старуха, встречаться с Малышевой избегала.

Малышева же никому, ни одному человеку в селе не рассказала про редкостное сватовство. И Глухов, и Отавиха ждали, что она всем расскажет. Нет, не рассказала.

ДАЕШЬ СЕРДЦЕ!

Дня за три до Нового года, глухой морозной ночью, в селе Николаевке, качнув стылую тишину, гулко ахнули два выстрела. Раз за разом... Из крупнокалиберного ружья. И кто-то крикнул:

— Даешь сердце!

Эхо выстрелов долго гуляло над селом. Залаяли собаки.

Утром выяснилось: стрелял ветфельдшер Александр Иванович Козулин.

Ветфельдшер Козулин жил в этом селе всего полгода. Но даже когда он только появился, он не вызвал у николаевцев никакого к себе интереса. На редкость незаметный человек. Лет пятидесяти, полный, рыхлый...



Ходил, однако, скоро. И смотрел вниз. Торопливо здоровался и тотчас опускал глаза. Разговаривал мало, тихо, неразборчиво и все как будто чего-то стыдился. Точно знал про людей какую-то тайну и боялся, что выдаст себя, если будет смотреть им в глаза. Не из страха за себя, а из стыда и деликатности. Он даже бабам не понравился, хоть они уважают мужиков трезвых и тихих. Еще не нравилось, что он — одинок. Почему одинок, никто не знал, но только это нехорошо — в пятьдесят лет ни семьи, никого.

И вот этот-то человек выскочил за полночь из дома и дважды саданул из ружья в небо. И закричал.

Недоумевали.

В полдень на ветучасток к Козулину приехал грузный, с красным обветренным лицом участковый милиционер.

— Здравствуй, товарищ Козулин!

Козулин удивленно посмотрел на милиционера.

— Здравствуйте.

— Надо будет... это... проехать в сельсовет. Протокол составить.

Козулин поискал что-то глазами на полу...

— Какой протокол? Для чего?

— Что?

— Протокол-то зачем? Я не понял.

— Стреляли вчера? Вернее, ночью.

— Стрелял.

— Вот надо протокол составить. Предсельсовета хочет это... побеседовать с вами. Чего стрельбу-то открыли? Испугались, что ль кого?

— Да нет... Победа большая в науке, я отсалютовал.

Участковый с искренним интересом, весело смотрел на фельдшера.

— Какая победа?

— В науке.

— Ну?

— Я отсалютовал. А что тут такого? Я — от радости.

— Салют в Москве производят, — назидательно пояснил участковый. — А здесь — это нарушение общественного порядка. Мы боремся с этим.

Козулин снял халат, надел пальто, шапку и видом своим показал, что он готов.

У ворот ветучастка стоял мотоцикл с коляской.

Председсельсовета ждал их.

— Это... оказывается, ночью-то, салют был, — заговорил участковый и опять весело посмотрел на Козулина. — Мне вот товарищ Козюлин объяснил...

— Козулин, — поправил фельдшер.

— А?

— Правильно — Козулин.

— А какая раз... А-а! — понял участковый и засмеялся. И тяжело сел в большое кожаное кресло. И вынул из планшета бланк протокола. — Извиняюсь, я без умысла.

Председатель скрипнул хромовыми сапогами, поправил правой рукой ремень гимнастерки (из другого рукава свисала аккуратная лакированная ладонь протеза), пригласил фельдшера:

— Садись, товарищ Козулин.

Козулин тоже сел в глубокое кресло.

— Так что случилось-то? Почему стрельба была?

— Вчера в Кейптауне человеку пересадили сердце, — торжественно произнес Козулин. И замолчал. Председатель и участковый ждали — что дальше? — От мертвого человека — живому.

У участкового вытянулось лицо.

— Что, что?

— Живому человеку пересадили сердце мертвого. Трупа.

— Что, взяли выкопали труп и...

— Да зачем же выкапывать, если человек только умер! — раздраженно воскликнул Козулин. — Они оба в больнице были.

— Ну, это бывает, бывает, — снисходительно согласился председатель, — пересаживают отдельные органы. Почки... и другие.

— Другие — да, а сердце впервые. Это же — сердце!

— Я не вижу прямой связи между этим... патологическим случаем и двумя выстрелами в ночное время, — строго заметил председатель.

— Я обрадовался... Я был ошеломлен, когда услышал, мне попалось на глаза ружье, я выбежал во двор и выстрелил...

— В ночное время.

— А что тут такого?

— Что? Нарушение общественного порядка трудящихся.

— Во сколько это было? — строго спросил участковый.

— Не знаю точно. Часа в три.

— Вы что, до трех часов радио слушаете?

— Не спалось, слушал...

Участковый многозначительно посмотрел на председателя.

— Какая это Москва в три часа говорит?

— «Маяк».

— «Маяк» всю ночь говорит, — подтвердил председатель, но внимательно смотрел на фельдшера. — Кто вам дал право в три часа ночи булгатить село выстрелами?

— Простите, не подумал в тот момент... Я — шизя.

— Кто? — не понял милиционер.

— Шизя. На меня, знаете, находит... Теряю самоконтроль. — Фельдшер как бы в раздумье потрогал лоб, потом глаза — пальцами. — Ширво коло ширво... Зубной порошок и прочее.

Милиционер и председатель недоуменно переглянулись.

— Простите, — еще раз сказал фельдшер.

— Да мы-то простим, товарищ Козулин, — участливо произнес председатель, — а вот как трудящиеся-то? Им некоторым вставать в пять утра. Вы же человек с образованием, вы же должны понимать такие вещи.

— Кстати, — по-доброму оживился участковый, — а чего вы-то салютовать кинулись? Ведь это не по вашей части победа-то, — вы же ветеринар. Не кобыле же сердце пересадили.

— Не смейте так говорить! — закричал вдруг фельдшер. И покраснел. Помолчал и тихо и горько спросил: — Зачем вы так?

Некоторое время все молчали. Первым заговорил председатель.

— Горячиться не надо. Конечно, это большое достижение ученых. Дело не в том, кому пересадили, все мы, в конце концов, животный мир, важно само достижение. Тем более что это произошло на человеке. Но, товарищ Козулин, еще раз говорю вам: эта ваша самодеятельность с салютом в ночное время — грубое нарушение покоя. Мало ли еще будет каких достижений! Вы нам всех граждан психопатами сделаете. Раз и навсегда запомните это. Кстати, как у вас с дровами?

Фельдшер растерялся от неожиданного вопроса.

— Спасибо, пока есть. У меня пока все есть. Мне здесь хорошо. — Фельдшер мял в руках шапку, хмурился. Ему было стыдно за свой выкрик. Он посмотрел на участкового. — Простите меня — не сдержался...

Участковый смутился.

— Да ну, чего там...

Председатель засмеялся.

— Ничего. Кто, как говорят, старое помянет, тому глаз вон.

— Но кто забу-удет, — шутливо погрозил участковый, — тому два долой! Протокол составлять не будем, но запомним. Так, товарищ Козулин?

— При чем тут протокол, — сказал председатель. — Интеллигентный товарищ...

— Интеллигентный-то интеллигентный... а дойдет до наших в отделении...

— Мы вас больше не задерживаем, товарищ Козулин, — сказал председатель. — Идите работайте. Заходите, если что понадобится.

— Спасибо. — Фельдшер поднялся, надел шапку, пошел к выходу.

На пороге остановился... Обернулся. И вдруг сморщился, закрыл глаза и неожиданно громко — как перед батальоном — протяжно скомандовал:

— Рр-а-вняйсь! С' ирра-а!

Потом потрогал лоб и глаза и сказал тихо:

— Опять нашло... До свиданья. — И вышел.

Милиционер и председатель еще некоторое время сидели, глядя на дверь. Потом участковый тяжело перевалился в кресле к окну, посмотрел, как фельдшер уходит по улице.

— У нас таких звали: контуженный пыльным мешком из-за угла, — сказал он.

Председатель тоже смотрел в окно.

Ветфельдшер Козулин шел, как всегда, — скоро. Смотрел вниз.

— Ружье-то надо забрать у него, — сказал председатель. — А то черт его знает...

Участковый хэкнул.

— Ты что, думаешь, он правда «с приветом»?

— А что?

— Придуривается! Я по глазам вижу...

— Зачем? — не понял председатель. — Для чего ему? Сейчас-то?..

— Ну, как же — никакой ответственности. А вот спроси сейчас оправку — нету. Голову даю на отсечение — никакой справки нету. А билет есть. Ты говоришь: ружье... У него наверняка охотничий билет есть. Давай на спор: сейчас поеду, проверю — билет есть. И взносы уплачены. Давай?

— Все же я не пойму: для чего ему надо на себя наговаривать?

Участковый засмеялся.

— Да просто так — на всякий случай. Мало ли — коснись: что, чего? — я шизя. Знаем мы эти штучки!

ЗАБУКСОВАЛ

Совхозный механик Роман Звягин любил после работы полежать на самодельном диване, послушать, как сын Валерка учит уроки. Роман заставлял сына учить вслух, даже задачки Валерка решал вслух.

— Давай, давай, раскачивай барабанные перепонки — дольше влезет, — говорил отец.

Особенно любил Роман уроки родной литературы. Тут мыслям было раздольно, вольно... Вспоминалась невозвратная молодость. Грустно становилось.

Однажды Роман лежал так на диване, курил и слушал. Валерка зубрил «Русь-тройку» из «Мертвых душ».



— «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился...» Нет, это не надо, — оказал сам себе Валерка. И дальше. — «Эх, кони, кони, — что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню — дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная богом!.. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!.. Не дает ответа. Чудным звоном заливается...»

— Не торопись, — посоветовал отец. — Чешешь, как... Вдумывайся! Слова-то вон какие хорошие.

Роман вспомнил, как сам он учил эту самую «Русь-тройку», таким же дуроломом валил, без всякого понятия, — лишь бы отбарабанить.

— Потом жалеть будешь...

— Кого жалеть?

— Что вот так учился — наплевательски. Пожалеешь, да поздно будет.

— Я же учу! Чего ты?

— С толком надо учить, а у тебя одна улица на уме. Куда она денется, твоя улица? Никуда она не денется. А время пропустишь...

— Хо-о, ты чего?

— Ничего, не хокай — учи.

— А я что делаю?

— Повнимательней, говорю, надо, а не так!.. лишь бы отбрехаться.

Валерка подстегнул дальше свою «тройку», а Роман — опять за думы. И сладкие это думы, и в то же время какие-то... нерадостные. Половину жизни отшагал — и что? Так, глядишь, и вторую протопаешь — и ничегошеньки не случится. Роман даже взволновал-

ся — так вдруг ясно представилось, как он дотопает до конца ровной дорожки и... ляжет. Роман сел на диване. И очень даже просто — ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор Звягин, двоюродный брат... Да-а.

А в уши сыпалось Валеркино:

— «...Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились...»

Вдруг — с досады, что ли, со злости ли — Роман подумал: «А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова?» Роман даже привстал в изумлении... Прошелся по горнице. Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!.. вот так троечка!

— Валерк! — позвал он. — А кто на тройке-то едет?

— Селифан.

— Селифан-то Селифан! То ж — кучер. А кого он везет-то, Селифан-то?

— Чичикова.

— Так... Ну? А тут — Русь-тройка... А?

— Ну. И что?

— Как что? Как что?! Русь-тройка, все гремит, все заливается, а в тройке — прохиндей, шулер...

До Валерки все никак не доходило — и что?

— Да как же?! — по-настоящему заволновался Роман, но спохватился, махнул рукой. — Учи. Задали, значит, учи. — И чтоб не мешать сыну, вышел из горницы. А изумление все нарастало. Вот так номер! Мчится, вдохновенная богом! — а везет шулера. Это что же выходит? — не так ли и ты. Русь?.. Тьфу!..

Роман походил по прихожей комнате, покурил... Поделиться своей неожиданной странной догадкой не с кем. А очень захотелось поделиться с кем-нибудь. Тут же явный недосмотр! Мчимся-то мчимся, елки зеленые, а кого мчим? Можно же не так все понять. Можно понять... Ну и ну! Роману прямо невтерпеж сделалось. Он

вспомнил про школьного учителя Николая Степановича. Сходить?..

— Валерк! — заглянул Роман в горницу. — Николай Степаныч дома?

— Не знаю. А что? — испугался Валерка.

— Да ничего, учи. Сразу струсил... Чего боишься-то? Набедокурил опять чего-нибудь?

— Никого не набедокурил. Чего ты?

— Он в район не собирался ехать?

— Не знаю.

Роман пошел к учителю.

Николай Степаныч был дома, возился в сарае с каким-то хламом. Они с Романом были хорошо знакомы, учитель частенько просил механика насчет машины съездить куда-нибудь.

— Здравствуйте, Николай Степаныч.

— Здравствуйте, Роман Константиныч! — Учитель отряхнул пыльные руки, вышел к двери сарая, к свету. — Потерял одну штуку... извозился весь.

— Николай Степаныч, — сразу приступил Роман к делу, — слушал я счас сынишку... «Русь-тройку» учит...

— Так.

— И чего-то я подумал: вот летит тройка, все удивляются, любуются, можно сказать, дорогу дают — Русь-тройка! Там прямо сравнивается. Другие державы дорогу дают...

— Так...

— А кто в тройке-то? — Роман пытливо уставился в глаза учителю. — Кто едет-то? Кому дорогу-то?..

Николай Степаныч пожал плечами.

— Чичиков едет...

— Так это Русь-то — Чичикова мчит? Это перед Чичиковым шапки все снимают?

Николай Степаныч засмеялся. Но Роман все смотрел ему в глаза — пытливо и требовательно.

— Да нет, — оказал учитель, — при чем тут Чичиков?

— Ну, а как же? Тройке все дают дорогу, все расступаются...

— Русь сравнивается с тройкой, а не с Чичиковым. Здесь имеется... Здесь — движение, скорость, удалая езда — вот что Гоголь подчеркивает. При чем тут Чичиков?

— Так он же едет-то, Чичиков!

— Ну и что?

— Да как же? Я тогда не понимаю: Русь-тройка, так же, мол... А в тройке — шулер. Какая же тут гордость?

Николай Степаныч, в свою очередь, посмотрел на Романа... Усмехнулся.

— Как-то вы... не с того конца зашли.

— Да с какого ни зайди, — в тройке-то Чичиков. Ехай там, например... Стенька Разин, — все понятно. А тут — ездил по краю...

— По губернии.

— Ну, по губернии. А может, Гоголь так и имел в виду: подсуроплю, мол: пока догадаются, — меня уж живого не будет. А?

Николай Степаныч опять засмеялся.

— Как-то... неожиданно вы все это поняли. Странный какой-то настрой... Чего вы?

— Да вот влетело в башку!..

— Все просто, повторяю: Гоголь был захвачен движением, и пришла мысль о Руси, о ее судьбе...

— Да это-то я понимаю.

— Ну, а что тогда? Лирическое отступление, конец первого тома... Он собирался второй писать. Чичикова он уже оставил — до второго тома...

— В тройке оставил-то, вот что меня... это... и заскребло-то. Как же так, едет мошенник, а... Нет, я понимаю, что тут можно объяснить: движение, скорость,

удалая езда... Черт его знает, вообще-то! Ведь и так тоже можно подумать, как я.

— Да подумали уже... чего еще? Можно, конечно. Но это уже будет — за Гоголя. Он-то так не думал.

— Ну, его теперь не спросишь: думал он так или не думал? Да нет, даже не в этом дело: может, не думал. Но вот влетело же мне в голову!

— Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я ни сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так вот не подумал. И ни от кого не слышал. — Николай Степаныч улыбнулся. — Вот ведь!.. И так можно, оказывается, понять. Нет, в этом, пожалуй, ничего странного нет... Вы сынишке-то сказали об этом?

— Нет. Ну, зачем я буду?..

— Не надо. А то... Не надо.

Роман достал папиросы, угостил учителя. Закурили.

— Чего потеряли-то? — спросил Роман.

— Да потерял одну штукенцию... штатив от фотоаппарата. Хочу закат на цвет попробовать снять... Не закаты, а прямо пожары какие-то. И вот — потерял, забросил куда-то.

— Закаты теперь дивные, — сказал Роман. — А для чего штатив-то?

— А выдержку-то нужно большую давать. На руках же я не смогу.

— А-а, да. Весной почему-то закаты всегда красивые.

— Да. — Учитель посмотрел на Романа и опять невольно рассмеялся. — Чичиков, да?.. Странно, честное слово. Надо же додуматься!

Роман тоже усмехнулся, хотел было опять воскликнуть: «Ну, а кто едет-то?! Кто?» Но не стал. Несерьезно все это, в самом деле. Ребячество какое-то.

— А ведь сами небось учили?

— Учил! Помню прекрасно, как зубрил тоже... А через тридцать лет только дошло. — Роман покачал головой. Пожал руку учителю и пошел домой.

Он — не то что успокоился, а махнул рукой и даже слетка пристыдил себя: «Делать нечего: бегаю, как дурак, волнуюсь — Чичикова везут или не Чичикова?» И опять — как проклятие навалилось — подумал: «Везут-то Чичикова, какой же вопрос?»

— Тьфу! — Роман бросил окурок и полез опять за пачкой. — Вот наказание-то! Это ж надо так... забуксовать. Вот же зараза-то еще — прилипла. Надо же!..

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

Вечером, в субботу, в клубе села Нового собрались обсуждать только что полученную пьесу. Собралось человек двенадцать — участники художественной самодеятельности.

Речь держит Ваня Татусь, невысокий крепыш, честолюбивый, обидчивый и вредный. Он в этом году окончил областную культпросветшколу и неумеренно форсит. Он руководитель художественной самодеятельности.

— Я собрал вас, чтобы сообщить важную новость...

— К нам едет ревизор? — Это Володька Маров. Володька дружит с медсестрой Верой, которая нравится Ване Татусю, но Ваня это скрывает, надеется, что Вера



сама заметит гордого Ваню и покинет дубинистого Володьку. Если же она останется с шофером Володькой, то пусть пеняет на себя. Основания для того, чтоб она потом страдала и раскаивалась, — будут. А Володька почувствовал, что ли, тайные помыслы Вани и ест его поедом. Для того и в самодеятельность записался. Медсестра Вера сидит здесь же — она помешалась на самодеятельности, и тем еще злит Ваню, что с такой-то любовью к драматическому искусству не может, дурочка, сообразить, что любить надо — режиссера. Интересно, о чем они говорят с Володькой? О поршнях?

— Маров, острить будешь потом. — Ваня понимает, что не надо даже и замечать-то Володьку, не то что вступать в разговоры с ним, но не может сдержаться — старается тоже укусить соперника. — Мы получили из области пьесу. Пьесу написал наш областной автор. Мы должны ее отрепетировать и показать на областном смотре. Острит, Маров, тот, кто острит последним.

— Ослит, — поправляет Володька.

— Вот именно. Надо сначала отрепетировать пьесу, а потом будем острить и смеяться.

— Как дети, среди упорной борьбы...

— Перестань! — сердито прерывает Вера. — Про что пьеса, Ваня? Женские роли есть?

— Пьеса из колхозной жизни, бьет по... — Ваня заглянул в аннотацию. — Бьет по частнособственническим интересам. Автор сам вышел из народной гущи, хорошо знает современную колхозную деревню, ее быт и нравы. Слово его крепко, как... дуга.

— Как это — из гущи? — спросил Васька Ермилов, по общему мнению, дураковатый парень, тоже шофер, дружок Володьки. Володька привлек его в самодеятельность, чтобы не скучно было. Васька, глядя на своего дружка, понял так, что здесь надо вовсю острить и подсмеиваться. — Он что, алкаш?

— Вася, помолчи, ради бога! — Вера гневно смотрит на Ваську.

— Но я недопонимаю: как это — вышел из гущи? Гуща — это когда пива на донышке остается...

— Кто про что, а вшивый все про баню, — заметил один женатый мужик, который от семьи — от детей! — бегал репетировать пьески.

— А ты понимаешь?

— Из гущи, — значит, из низов, из простонародья.

— Простонародья теперь нет. Из рядовых колхозников, — поправил Ваня.

— Так бы и писали, — ворчит Васька. Он совсем не умеет шутить.

— Я бы сказал так, — не унимается женатый мужик, — из трудового крестьянства.

Ходил еще в самодеятельность один старик, Елистратыч, вечный шут. Он среди молодых считался специалистом по вопросам старины, и все, что в пьесах касалось крестьянства, коллективизации, например, — прямо касалось его: он по сей день жалел, что многих и многих в селе не раскулачили тогда, в тридцатом году. Когда сказали «крестьянство», Елистратыч встрепенулся.

— Крестьян теперь тоже нет — колхозники. (Он говорил — кольхозники).

— Ваня, женские роли есть? — спросила нетерпеливая Вера.

— Помолчите, товарищи! — строговато оказал Ваня. — Я сейчас коротко расскажу содержание пьесы, и вам станет все понятно. В колхоз из армии возвращается хороший парень Иван Петров. Сначала он... — Ваня читает предисловие, — активно включается в трудовую жизнь колхозного крестьянства...

— Пожалуйста: колхозного крестьянства! — воскликнул женатик.

— Трудового — тоже можно говорить. Колхозное

крестьянство — это и есть трудовое. Продолжаю: активно включается в трудовую жизнь, но затем женится... Есть, как видите, женщины. Иначе, на ком же он женится?

— А может, он этот... как их? — подает голос Васька.

— Ну дайте же послушать-то! — взмолилась Вера. — Идиоты, честное слово. Еще ж ничего неясно.

— Я предлагаю так, — поднялся женатик, — кто вякнет не по существу, того выводить.

— Ты эти замашки брось, — советует Володька. — Мы же не в отделении милиции.

Женатик чего-то вдруг рассмеялся.

— А я же и не говорю, что — приводить. Я говорю: вы-во-дить.

— Ваня, продолжай.

— Он женится и попадает под влияние тестя и тещи, а потом и жены: становится стяжателем. Начинает строить себе дом, обносит его высоким забором... Пьеса называется «Крыша» над головой». Крыша — взято в кавычки, потому что дом большой — это уже не крыша. Ивану делают замечание — чтобы он поумерился. Иван отговаривается материальным стимулированием, скрывая под этим чисто кулацкие взгляды...

— А отец с матрей его живые? — встрепенулся опять Елистратыч.

— Всех удивляет: откуда в нем это? Его продергивают в стенгазете, молодежь из самодеятельности сложила о нем обличительные частушки... То, что я предлагал сделать с Ивановым, но меня не поддержали.

— Иванов — трудяга.

— А этот? Вопрос: в чью пользу трудяга? В общем, озорные девчата исполнили эти частушки с клубной сцены; в зале — веселая реакция. Но Иван не унимается. Тогда его разбирают на колхозном собрании. Один за другим на трибуну поднимаются колхозные активисты, бывшие товарищи Ивана, пожилые колхозни-

ки — суд их суров, но справедлив. Все разъясняют Ивану, что он, возводя над собой так называемую крышу, тем самым отгораживается от коллектива... То есть под крышей надо понимать забор. Крыша — тире — забор. Это понятно?

— А какую позицию занимает жена? — Это все Вера.

— Там же сказано: действовали совместно, — сказал женатик. — Групповая.

Елистратыч вспомнил народную мудрость:

— Муж да жена — одна сатана.

— Она тоже присутствует на собрании?

— И только тут, на собрании, — продолжает Ваня, — Иван осознает, в какое болото затащили его тесть с тещей. Он срывается и бежит к недостроенному дому... Дом он уже подвел под крышу. Он подбегает к дому, трясущимися руками достает спички... — Ваня понизил голос. — И — поджигает дом!

Никто не ждал этого.

— Как?

— Сам?

— Он что?..

— Эт-то он... А пожарка в деревне есть?

Вера потрясена пьесой.

— Это трагедия, да? Вань?

— Если не трагедия, то... во всяком случае, социальная драма.

— А мы чего-нибудь будем жечь? — интересуется один любитель пиротехники.

— Да, товарищи, — продолжает довольный Ваня, — он сам поджигает дом, который сам, собственными руками рубил в неурочное время.

— Дом-то сгорел? — спрашивает Володька, задетый за живое Ваниным торжеством. Ему не верится, чтобы в современной пьесе сгорел дом.

— Когда дело-то происходит? — Женатик тоже не понимает, как это дом может сгореть. — Летом?

— Спокойно, спокойно, — говорит артист Ваня. — Он поджигает дом, но колхозники... Тут самый накал пьесы. Развязка. Обратите внимание, как автор подходит к финалу — резкими мазками! Иван срывается с места и с криком: «Подонки! Куда они меня завели?!» — выбегает с собрания. Жена...

— Он же уже выбежал.

— Жена бросается за ним.

— Он же уже выбежал!

— Через некоторое время бледная жена прибегает на собрание... В это время собрание перешло к другому вопросу. Жена врывается на собрание и кричит срывающимся голосом: «Скорее! Он поджег дом!» Колхозники срываются с места и бегут к новому дому. Один старик... Здесь мы будем отталкиваться от деда Щукаря. Этот старик бежит совсем в другую сторону — к дому тестя Ивана. И кричит за кулисами: «Вы горите или нет?!» Это уже элемент трагикомедии. Мы всю пьесу будем решать в трагикомическом ключе.

— Но дом-то сгорел? — опять спрашивает Володька.

— Дом спасают колхозники. Ивану объяснили, что дом пойдет под колхозные ясли. Иван сам принимает участие в тушении пожара и все повторяет: «Подонки! Куда они меня завели!»

— Это про кого он? — не понял Васька.

— О, боже мой! Да про тестя с тещей, неужели непонятно?

— Сильная пьеса!

— И все? Конец? — спрашивает Володька.

— В конце Иван, смущенный, но счастливый, подписывает вместе с другими парнями и девчатами обязательство: сдать ясли к Новому году.

— А где он жить будет? — Это Володька.

— Поживет пока у тестя... — начал было Ваня, но спохватился: герой только что крыл тестя и тещу «подонками». — Найдет, где жить.

— Где?

— А тебя что, не устраивает идея пьесы?

— Идея-то меня устраивает. Я спрашиваю, где он жить будет?

— А по-моему, тебя сама идея не устраивает.

— Ты мне политику не шей. Я спрашиваю, где он жить будет?

Женатику надоели эти пререкания двух ухажеров.

— Допустим, он себе еще домик срубит — поменьше. Доволен?

— На какие же такие деньги: один дом рубит, другой?..

— Другой — это уже за кадром, — резко сказал Ваня. — Другой нас уже не интересует. Перед нами — пьеса, и надо относиться к ней профессионально. Но, по-моему, тебя и первый дом не устраивает...

— На первое время к тестю пойдет, — сказал женатик.

— Да не пойдет он к тестю! — взорвался Васька. — Вы что? У них после этого ругань пойдет несусветная. Ведь он же помогал ему рубить дом? Тесть-то. Откуда у солдата деньги! Тесть помогал... А зять — то хотел спалить этот дом, то под ясли отдал. И что, тесть после этого скажет ему: «Спасибо тебе, зятек»?

— Не меряй всех на свой аршин.

— Вот тесть-то меня меньше всего волнует, — жестко сказал Ваня.

Женатик встал:

— Здесь просто хотят подсунуть другую идейку! — и сел. Он не любил Володьку за длинный язык.

— Дальше? — спросил Володька. — Что ж ты замолчал? Какую идейку? Говори.

Женатик встал.

— Здесь просто хотят проявить сочувствие тестю.

— Кулаку-тестю, — уточнил Ваня.

Наступила нехорошая тишина.

— Предлагаю вывести Марова из состава драмкружка, — сказал женатик. — И Ваську тоже. Они не репетируют, а только зубоскалят.

— А меня за что? — обиделся Васька.

— Нет, Ваську не надо, — пожалел пиротехник. — Он одумается.

Раздались еще голоса:

— Васька — безотказный труженик. Он только — на поводу у Марова.

Женатик предложил другое:

— Поставить Ваське на вид. И предупредить: пусть не злоупотребляет спиртными напитками.

— Вот за это стоит! — подхватил Елистратыч. — Это — стоит. По праздникам — это другое дело. Но ты, Васька, и в будни — нет-нет да огреешь. А ты — на машине, недолго и до аварии.

— Совсем надо прекратить! — подала голос библиотекарша, женщина в годах, но очень миловидная.

— Нет, совсем-то... как, поди-ка, совсем-то? — усомнился сам Елистратыч. — Он же мужик...

Но тут взорвался женатик:

— Ну и что, что мужик? А спросите его: что за причина, по которой он пьет? Он не ответит.

Тучи сгущались.

— По праздникам все пьют, — вякнул Васька. — А я что, рыжий?

— В общем, так,— подвел Ваня. — Двое упорствуют, двое настаивают на своем. Ставлю на голосование: кто за то, чтобы...

В это время через зал прошла и села на первый ряд Вдовина Матрена Ивановна, пенсионерка, бывшая завотделом культуры райисполкома, негласный шеф и радетель художественной самодеятельности.

— Здравствуйте, товарищи! Ну, как дела?

— Обсуждаем пьесу, Матрена Ивановна.

— Так, так.

— Выяснилось, что идея пьесы не всех устраивает.

— Как так? — удивилась Матрена Ивановна. — Я читала — хорошая пьеса. А кому не нравится идея?

— Мне идея нравится, — заговорил Володька, с презрением поглядев на Ваню, — только я не знаю, где он жить будет.

— Кто?

— Солдат.

— Какой солдат?

— Герой пьесы, Матрена Ивановна, — пояснил Ваня. —Надо яснее выражаться, Маров. Он уже давно не солдат.

— Я уж испугалась: как это — где будет жить солдат? Выражайтесь, действительно, яснее. А то ведь можно подумать, что у нас солдатам жить негде. А почему идея не нравится?

— Да вот... ставят двусмысленный вопрос: где будет жить Иван?

— Ты мне — не двусмысленный! — разозлился Володька. — Двусмысленный... Вопрос самый обыкновенный.

— Ну, ну?

— Дом он отдал под ясли, к тестю он после всего не пойдет... Где же он жить будет?

— Ну, нашли о чем спорить! Петухи. Жилье ему выделит колхоз. Обязан выделить. Человек отдал дом под ясли...

— В пьесе-то этого нет.

Вдовина подумала.

— А вот тут, возможно, что и упущение автора. Вот что, ребята: я свяжусь с автором по телефону, попрошу его добавить насчет жилья. А то, действительно, можно не так понять... Можно понять, что его оставили на произвол судьбы. Я попрошу его уточнить с жильем. О том, что мы взяли его пьесу, я ему звонила, он поздравляет нас и передает всем привет. Дело серь-

езное, ребятки. Как говорят охотники: есть шанс убить медведя. Если мы займем первое место на смотре...

Тут все загалдели.

— То что тогда, Матрена Ивановна?

— Ой, ну скажите?..

— Матрена Ивановна, скажите.

— Звание народного театра?

— Ну, за один спектакль...

— Как сделать!

— Нам устроят турне по области?

Вдовина, улыбающаяся, захлопала в ладоши.

— Тихо, ребятки, тихо!

— Ну скажите, Матрена Ивановна!

— Нет, нет, даже не просите. — Вдовина улыбалась. — Не будете знать, лучше будете работать. Вот так. Это и педагогичнее будет. За работу, друзья!

В клуб вошла девушка с почты.

— Матрена Ивановна, вам телеграмма. Я была у вас дома, там никого нет...

Матрена Ивановна надела очки, прочитала телеграмму.

— Какое совпадение, — сказала она. — Только что о нем говорили...

— От автора?

— Да. Он пишет: «Песню «Мой Вася» снимите. Точка. Героиня поет: «Вот кто-то с горочки спустился». Точка. Желаю удачи. Копылов». Болит ретивое-то — думает.

— А она разве поет там? — спросил Ваня.

— Кто?

— Героиня-то. Она же у нас не поет.

— Да, верно... Я не помню, чтобы она у нас пела. Он, наверно, перепутал пьесы. Где-нибудь ставят еще его пьесу... Конечно, он перепутал. Я буду звонить, все выясню. А теперь — за работу, друзья. За работу!

ШИРЕ ШАГ, МАЭСТРО!

Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, укоризненно говорила:

— Солодовников, напишу маме!

Солодовников смущался; Анна Афанасьевна (Анфас — называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам своим, которых судьба тоже раскидала по таким же углам; они еще писали друг другу, жаловались и острили) приходила в мелкое движение — смеялась. Молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодого врача. Солодовников же, изображая смущение, жалел, что редкое дарование его — нравиться людям — пропадает зря: Анфас не могла сы-



грать в его судьбе сколько-нибудь существенную роль; дай бог ей впредь и всегда добывать для больницы спирт, камфару, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппендицит. Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию, — писал он как-то товарищу своему. — Хотел большую подкожную загнать в руку — начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но... струсил. Нет, не то: зрителей нет, вот причина. Хучь бей меня, хучь режь меня — я актер. А моя драгоценная Анфас — не аудитория. Нет».

Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утреннюю сцену с Анной Афанасьевной: он нахмурится виновато, сунется к часам... Вообще, он после таких сценок чувствовал себя довольно погано. «Гадкая натура, — корил себя. — Главное, зачем? Ведь даже не во спасение, ведь не требуется!»

Солодовников вбежал на крыльцо, открыл дверь на пружине, придержал ее, чтоб не грохнула... И, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. А когда раздевался, увидел на белой стене, противоположной окну, большой — в окно — желтый квадрат. Свет. Солнце... И как-то он сразу вспыхнул в сознании, этот квадратный желтый пожар, — весна! На дворе желанная, милая весна. Летел по улице, хрустел ледком, думал, черт знает о чем, не заметил, что — весна. А теперь... даже остановился с пальто в руках, засмотрелся на желтый квадрат. И радость — особая радость — какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и вперед тоже тепло и радость — толкнулась в грудь Солодовникова. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко обмозговать. Всего двадцать четыре года, впереди целая жизнь, надо что-то такое решить теперь же, когда сила есть,

много, и радостно. И весна. Надо начать жить крупно.

Солодовников прошел в свой кабинетик (у него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны был свой кабинетик), сел к столу и задумался: все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас — с весной, светом — в душу, все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя... И невольно стал вслушиваться и в звуки за окном: на жесть подоконника с сосулек, уже обогретых солнцем, падали капли, и мокрый шлепающий звук их, такой неожиданный, странный в это ясное, солнечное утро с легким морозцем стал отзываться в сердце — каждым громким шлепком — радостью же. Нет, надо все сначала, думал Солодовников. Он верил, что начнет теперь жить крупно — самое время, весна: начало всех начал. Отныне берем все в свои руки, хватит. Двадцать пять плюс двадцать пять — пятьдесят. К пятидесяти годам надо иметь... кафедру в Москве, сотню учеников и огромное число работ. Не к пятидесяти, а к сорока пяти. Придется, конечно, поработать, но... почему бы не поработать!

Солодовников поднялся, прошелся по кабинетику. Остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля... Огромная жизнь. Но — шаг шире, шире шаг, маэстро! Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход — вот отсюда, от этой весны.

Солодовников сел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке:

Отныне буду так:
Холодный блеск ума,
Как беспощадный блеск кинжала:
Удар — закон.
Удар — конец.
Удар — и все сначала.

Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинетику. Закурил. Его поразило, что он написал стихи. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их писать. Вот это да! Он подошел к столу, перечитал стихи... Хм. Может, они, конечно, того... нагловатые. Но дело в том, что это и не стихи, это своеобразная программа, что ли, сформулировалась такими вот словами. Он еще прошелся по кабинетику... Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга: «Удар — конец. Удар — и все сначала». Что сначала: новый язвенник? Ничего... Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, а нашел мудрость обнаружить их смешную слабость. Но их надо сохранить: так — смешно и наивно — начиналась большая жизнь. Солодовников спрятал книжечку. Если к пятидесяти годам не устать, как... лошади, и сохранить чувство юмора, то их можно потом и вспомнить.

А за окном все шлепало и шлепало в подоконник. И заметно согревалось окно. Весна работала. Солодовников почувствовал острое желание действовать.

Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: «Шире шаг, маэстро!»

Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе. Они кивнули друг другу.

— Я понимаю, Николай Васильевич, — любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку, — я вас прекрасно понимаю... Да. Да! Пятнадцать листов!

«Мы всё прекрасно понимаем, Николай Васильевич», — съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку. Не зло съязвил, легко — от избытка доброй силы. Не терпелось скорей заговорить с Анной Афанасьевной.

— Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич!.. Хорошо. Бу сделано! — Анна Афанасьевна по привычке засмеялась беззвучно. — Я в долгу не останусь. До

свидания! Нет, не у нас, не у нас... Что вы все боитесь нас, как... не знаю? До свидания — на нейтральной почве! В ресторане? — Анфас опять вся заколебалась. — Ну, посмотрим. Ну, лады! Всего.

«Господи — весь юмор: «бу сделано», «лады», — удивился Солодовников. — И не жалко времени — болтать! Тут теперь каждая минута дорога».

— Ну-с, Георгий Николаевич… — Анна Афанасьевна весело и значительно посмотрела на Солодовникова.

— Да здравствует листовое железо! — тоже весело сказал Солодовников без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза.

— В смысле? — спросила та.

— В смысле: у нас будет самодельный холодильник. — Солодовников встал, подошел к окну, постоял — руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача... Качнулся с носков на пятки. И соврал, неожиданно для себя:

— Начал писать работу, Анна Афанасьевна. «Письма из глубинки. Записки врача».

Это как-то вырвалось само собой — эти «Письма из глубинки». И Солодовникова опять поразило: это же ведь то, что нужно! С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не «удар-закон». Нет, это реально, умно, точно: это описание интересных случаев операционной практики в условиях сельской больницы! В форме писем к другу «Н». Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий, описание самодельного холодильника — глубокой землянки, обшитой изнутри железом, — и легко, вскользь — весна... Но, конечно же, главным образом работа, работа, работа. Изнуряющая. Радостная. Смелая. Подвижническая. Любовь населения... Уважение. Ночные поездки. Аутотрансплантация. Прободная в условиях полевого стана. Благодарность старушки, ее смешная, искренняя молитва за молоденького неверу-

ющего врача... Все это представилось в один миг, вдруг, отчетливо, с радостью. Солодовников повернулся к Анне Афанасьевне... Да, тут, конечно, и заботливая, недалекая хлопотунья Анна Афанасьевна, главврач... Которая, прочитав «Записки» в рукописи, скажет, удивленная: «Прямо как роман!» — «Ладно, а как врачу, вам это интересно?» — «Очень! Тут же есть просто уникальные случаи!» — «А за себя... не в обиде на автора?» — «Да нет, чего обижаться? Все правда».

— Что, Анна Афанасьевна?

— Уже начали писать? — спросила Анна Афанасьевна. — Записки-то? Поэтому и опоздали?

— Поэтому и опоздал. — Солодовников обиделся на главврача: одно листовое железо в голове. — Извините,— сухо добавил он, — больше этого не случится. — Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. «Все, — подумал он. — Хватит. Пора кончать эти... ужимки и прыжки». Вспомнил свое стихотворение.

— Какой-то вы сегодня странный.

— Что с этим язвенником, с трактористом? — спросил Солодовников. — Будем оперировать?

Анна Афанасьевна больше того удивилась:

— Зубова? Здрассте, я ваша тетя: я его два дня назад в район отправила. Вы что?

— Почему?

— Вы же сами просили об этом. Что с вами?

— Да, да, — вспомнил Солодовников. — А эта девушка с мениском?

— С мениском лежит... Хотите оперировать?

— Да, — твердо сказал Солодовников. — Сегодня же.

Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядам. Солодовников тоже посмотрел на нее — как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза.

— Так, — молвила Анна Афанасьевна. — Ну, что же... Только вот какое дело, Георгий Николаевич: сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа... Причем это такой человек, что его надо ловить на слове: завтра железа у него не будет, надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске.

Солодовников было огорчился, но, подумав, легко согласился:

— Хорошо.

Первая глава в «Записках» будет... о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу.

— Что все-таки с вами такое? — опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться. — Серьезная любовь?

Солодовников, в свою очередь, с любопытством посмотрел на главврача.

— Вы ничего не замечаете? Что происходит на земле...

Анна Афанасьевна даже выглянула в окно.

— Что происходит? Не понимаю...

— Не во дворе у нас, вообще на земле.

— Война во Вьетнаме...

— Нет, я не про то. Лады, Анна Афанасьевна, иду добывать железо! Куда надо идти?

— Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Ненароков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего, там дадут, я договорилась. Скажите Ненарокову, что мы, я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя. Это действительно надо сделать, я давно

обещала. Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич. Любовь, да?

— Разрешите идти? — Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой.

— Разрешаю.

Солодовников вышел в коридор... Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на пятно, постоял... «Время идет», — подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозначало: «Началось мое время. Сдвинулось!»

В кабинетике он опять достал записную книжку и записал: «Сегодня утром я спросил мою уважаемую Анфас: «Что происходит на земле?» Анфас встревоженно выглянула в окно... Подумала и сказала: «Война во Вьетнаме». — «А еще?» Она не знала. А на земле была Весна».

Это — начало первой главы «Записок». Солодовникову оно понравилось. С прозой он, очевидно, в лучших отношениях. Да, с этого дня, с этого утра время работает на него. На книге, которую он подарит Анне Афанасьевне, он напишет:

«Фоме неверующему за добро и науку. Автор».

Вот и все. Ну, а теперь — листовое железо!

В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, там не было.

— Вы, это, заехайте за ним, он живет... вот так вот улица повернет от сельпо в горку, а вы...

Солодовников поехал один в Образцовку. «Черт с ним, с рабочим, один погружу».

Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил, да Солодовников и не торопил его. Санная езда кончалась; как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья пронзительно скрежетали по камням; от копыт лошади, когда

она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях было голо, Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтоб раскинуть ее и развалиться бы на ней, как, он видел, делают мужики.

На выезде из села, у крайних домов, Солодовников увидел початый стожок сена. Стожок был огорожен пряслам, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стожку. Перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше... И тут услышал сзади злой окрик:

— Эт-то что за елкина мать?! Кто разрешил?

Солодовников вздрогнул испуганно и выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе, без шапки. Нес в руке березовый колышек.

— Я хотел под бок себе... — поспешно сказал Солодовников и сам почувствовал, что говорит трусливо и униженно. — Немного — вот столько — под бок хотел положить...

— А по бокам не хотел? Стяжком вот этим вот... Под бок он хотел! Опояшу вот разок-другой...

— Я врач ваш! — совсем испуганно воскликнул Солодовников. — Мне немного надо-то было... Господи, из-за чего шум?

— Врач... — Мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача. — Надо же спросить сперва. Если каждый будет по охапке под бок себе дергать, мне и коровенку докормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездиют.

Оттого, что мужик отчитал его, как школяра, Солодовников очень обиделся.

— Да не надо мне вашего сена, господи! Я немного и хотел-то... под бок немного... Не надо мне его! — Солодовников повернулся и пошел по целику прямо, проваливаясь по колена в жесткий ноздреватый снег, боль-

но царапая лодыжки. Он понимал, что — со стороны посмотреть — вовсе глупо: шагать целиком, когда есть тропинка. Но на тропинке стоял мужик, и его надо было бы обойти.

— Возьми сена-то! — крикнул мужик. — Чего же пустой пошел?

— Не надо мне вашего сена! — чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись. — Вы же убьете, чего доброго, из-за охапки сена!

Мужик молча глядел на него.

Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжами кобылу и поехал. В какой-то статье он прочитал однажды, что «идиотизма деревенской жизни» никогда не было и, конечно же, нет и теперь. «Сам идиот, поэтому и идиотизма нет и не было», — зло подумал он про автора.

Наги Солодовников поцарапал сильно, они саднили, и он решил вернуться в больницу, чтобы дезинфицировать ссадины. Но остановился, постоял и раздумал, решил, что в совхозе попросит спирту и протрет ссадины.

Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще, неплохое продолжение первой главы «Записок». Только с юмором надо как-то... осторожнее, что ли. При чем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь, без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудной, повседневной, нормальной, если хотите, жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких, холодных санях.

Николай Васильевич Ненароков, человек нестарый, сорокалетний, но медлительный (нарочно, показалось Солодовникову), рассудительный... Долго беседовал с Солодовниковым, присматривался. Расспросил, где учился молодой человек, как попал в эти края (по распределению?), собирается ли оставаться здесь после

обязательных трех лет... Солодовникову директор очень не понравился: он резко и невежливо перебил.

— Вы дадите железо?

— А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно... У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский, вот я и прощупываю, так сказать, почву. Конкурс большой?

— Да, с каждым годом больше.

— Вот, — решил директор. — Нечего и соваться. Есть сельскохозяйственный — прямая дорога. Верно? Специалисты позарез нужны, без работы не будет.

Солодовников пожал плечами:

— Но если человек хочет...

— Мало ли чего мы хотим! Я, может, хочу... — Директор посмотрел на молодого врача, но говорить, чего он, «может, хочет», не стал. Написал на листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову.

— Вот — на складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой, узнаете.

— Насчет лекции... Анна Афанасьевна просила передать...

Директор махнул рукой.

— Толку-то от этих лекций! Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню — приезжайте.

— Зачем? — не понял Солодовников.

— Ну, лекцию-то читать.

— А при чем тут картина?

— А как людей собрать? Перед картиной и прочитаете. Иначе же их не соберешь. Что?

— Ничего. Я думал, соберутся на лекцию.

— Не соберутся, — просто, без всякого выражения сказал директор. — Значит, Морозова спросите, завскладом.

Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест:

— Пятнадцать листав?! А где? У меня их *нету*. — Он вернул записку. И при этом пытливо посмотрел на врача. — Откуда они у меня?

— Как же? — растерялся Солодовников. — Они же договорились...

— Кто?

— Главврач и ваш директор.

— Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет. — Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то ждал, а чего, Солодовников никак не мог понять. — А то они шибко скорые: Морозов, выдай, Морозов, отпусти... А у Морозова на складе — шаром покати. Тоже мне, понимаешь...

— Как же быть? — спросил Солодовников.

— Не знаю, не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря», они приедут за ним. — Морозов простуженно, со свистом покашлял в кулак. И опять глянул на врача. — Простыл к *черту*, — доверительно оказал *он*. — Крутишься день-деньской на улице... Впору к вам ехать — лечиться.

Только теперь сообразил Солодовников, что Морозов хочет опохмелиться, вымотает двести граммов водки, благо, чайная рядом.

— Нет железа?

— Есть. Для других. Для вас — нету.

— А телефон тут есть где-нибудь?

— Зачем?

— Я позвоню директору. Что это такое в конце концов: я бросил больных, еду сюда, а тут стоит... некий субъект и корчит из себя черт знает что! Где телефон?

Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза:

— А полегче можно? Без гонора. А?

— Где телефон?! — крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахрапистости. — Я вам покажу гонор.

И кое-что еще! Мы найдем железо... Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон?

Морозов пошел под навес, одернул со штабеля толь — там было листовое железо.

— Отсчитывайте пятнадцать листов, — спокойно сказал Морозов, — а мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию.

— Солодовников Георгий Николаевич.

Морозов записал.

— За субъекта... как вы выразились, придется ответить.

— Отвечу.

— Если всякие молокососы будут приезжать и обзываться...

— За молокососа тоже придется ответить. Вы на что намекаете? Что у нас молокососам жизни человеческие доверяют?

— Ничего, ничего, — оказал Морозов. Но такой поворот дела его явно не устраивал.

Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани.

Морозов стоял рядом, считал.

— Привет тете, — сказал Солодовников, отсчитав пятнадцать листов. И поехал.

Морозов закрывал толем штабель. На Солодовникова не оглянулся.

Солодовников поехал с хорошим настроением... Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводине саней: на железе вовсе холодно.

Дорога, когда поехал обратно, вконец раскисла, и лошадь напрягалась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней.

«Вот так и надо! — удовлетворенно думал Солодовников. — В дальнейшем будет только так». Непри-

ятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом.

Но — то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек — радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, даль неоглядная, где распахнулась во всю красу мокрая весна, — стали безразличны все эти запахи, звуки, пятна... Ну, весна, ну, что же теперь — козлом, что ли, прыгать? Куда как приятнее и веселее вечером. Вечером они уговорились — компанией в пять-шесть человек — играть в фантики и целоваться. Будет музыка... Будет там эта курносенькая хохотушка, учительница немецкого языка... Она хохотушка-то хохотушка, но умна, черт бы ее побрал, читала много, друзей интересных оставила в городе. Тут что-то такое... сердчишко у врача вздрагивает. Вздрагивает, чего там. Малость она, правда, вульгаритэ: носик. К тридцати годам носик этот самый на лоб полезет. Курносые предрасположены к полноте. Но где они еще, эти ее тридцать пять — сорок лет!

Солодовников подстегнул кобылку.

Пока он сгрузил железо, отвел лошадь в сельсовет и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Солодовников так устал, что руки тряслись. Он умылся в кабинетике, хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но вошла уборщица и сказала, что там названивают без конца, а Анны Афанасьевны нету.

— Может, вы послушаете. Они там говорят: кто есть, мол.

Солодовников пошел в кабинет, посидел у телефона, дождался, когда он затрещал, снял трубку.

— Больница. Солодовников... Она в районе... А-а, это вы? Получил, получил. Пятнадцать листов, все в порядке... Спасибо. Лекцию?.. Нет, сегодня не получится. Нет. Я не смогу... занят, а Анна Афанасьевна... не

знаю, когда она приедет. Нет, я занят. Я оставлю ей записку. Во сколько сеанс-то? Я напишу ей. До свиданья.

Солодовников положил трубку, посидел... И пошел в палату к девушке с менискам. Посмотрел ее ногу, шутливо поговорил с девушкой и другими больными, послушал их справедливые сетования. Сказал, что на дворе — весна. И ушел.

В своем кабинетике снял халат, поправил перед зеркалом галстук... Закурил. Нащупал в кармане записную книжку, хмыкнул, вспомнив про стихи, бросил книжечку в стол, подальше. И пошел из больницы.

Шел опять той дорогой, какой шел утром, старательно обходил лужи... приветливо, с достоинством здоровался со встречными (он поразительно скоро и незаметно для себя научился достоинству), но ни с кем не заговаривал.

«Нет, в курносенькой определенно что-то есть, — размышлял Солодовников. — Но, пожалуй, слишком уж серьезно ко всему относится, а ведь неутомимая хохотушка. Вот ведь какая головоломка...»

ВЕРУЮ!

По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал ее, гадину; как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками — ласкала, тянулась поцеловать.

— Опять!.. навалилась.

— О!.. Господи... пузырь: туда же, куда и люди, — тоска, — издевалась над Максимом жена: она не знала, что такое тоска. — С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском, глазами... Стискивал зубы...

— Давай — матерись. Полайся — она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.



Максим иногда пересиливал себя — не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

— Не поймешь ведь.

— Почему же не пойму? Объясни, пойму.

— Вот у тебя все есть — руки, ноги... и другие органы. Какого размера — это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога — ты чувствуешь, захотела есть — налаживаешь обед... Так?

— Ну.

Максим легко снимался с места (он был сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели.

— Но у человека есть также — душа! Вот она, здесь, — болит! — Максим показывал на грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит.

— Больше нигде не болит?

— Слушай! — взвизгивал Максим. — Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу... Дура! — вдруг вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Ни-когда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет — требуха. Да и сам он не верил в такую-то — в кусок мяса. Стало быть, все это — пустые слова. Чего и злить себя? — Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нету. Или она поганая!

— Ой, трепло!

— Сгинь с глаз!

— А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?

— А что, по-твоему, душа-то — пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь поэтому. Нервничаю.

— Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно... В кино ходют. А этот — нервничает, видите ли. Пузырь.

Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу.

Зима. Мороз. Село коптит в стылое ясное небо серым дымом — люди согреваются. Пройдет баба с ведрами на коромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой крепкий снег. Собака залает сдуру, и замолкнет — мороз. Люди — по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних... Есть — выпивают, но и там веселого мало.

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он ни к кому не обращает: ничего не хочется — вот где сволочь-маета! И пластом, недвижно лежать — не хочется. И водку пить не хочется — не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал... Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел, — оказывается: он и какой-то еще мужик изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это — гнусное предательство, что он — «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем хотел идти туда непременно босиком.

— Зачем же чертежи-то передал? — с усмешкой допытывался старшина. — И кому!

Этого Максим не знал, знал только, что это — «хуже Власова». И горько плакал.

В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.

«Ну и что? — сердито думал Максим. — Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын... А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих — свои такие же будут. А у тех — свои... И все? А зачем?»

Совсем тошно стало Максиму... Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот — поп. Самый натуральный поп — с волосьями. У попа что-то такое было с легкими — болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт.

Максим пошел к Лапшиным.

Илюха с попом сидели за столом, беседовали. Илюха был уже на развезях — клевал носом и бубнил, что в следующее воскресенье принесет сразу двенадцать барсуков.

— Мне столько не надо. Мне надо три хороших — жирных.

— Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам — каких. Мое дело принести. А ты уж выбирай сам, каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел... А я их тебе приволоку двенадцать штук...

Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.

— Что? — спросил он.

— Душа болит, — сказал Максим. — Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?

— Спирту хочешь?

— Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того

пришел. Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа или нет?

Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой.

— Разбавляй по вкусу.

Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широченный в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него — что-то там с легкими. И глаза у папа — ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому — не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благостный, не постный — не ему бы, не с таким рылом, горести и печали человеческие — живые, трепетные нити — распутывать.

— Душа болит?

— Болит.

— Так. — Поп выпил и промакнул губы крахмальной скатертью, уголочком. — Начнем подъезжать издалека. Слушай внимательно, не перебивай. — Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил, — видно, обожал порассуждать.

— Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло — есть добро, нет зла — нет добра. Понимаешь меня?

— Ну, ну.

— Не понукай, ибо не запряг еще. Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея — борется со злом. Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этому не предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди вон к отдушине и смоли.

Максим погасил о подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.

— Чего с легкими-то? — поинтересовался для вежливости.

— Болят, — кратко и неохотно пояснил поп.

— Барсучатина-то помогает?

— Помогает. Идем дальше, сын мой занюханный...

— Ты что? — удивился Максим.

— Я просил не перебивать меня.

— Я насчет легких спросил...

— Ты спросил: отчего болит душа. Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе — зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос... Но тогда — зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это — не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.

— В коммунизм, что ли?

— Что коммунизм?

— В коммунизм веришь?

— Мне не положено. Опять перебиваешь!

— Все. Больше не буду. Только ты это... понятней маленько говори. И не торопись.

— Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную высшую силу, которая все это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта — победит. Иначе — для чего все? А? Где такая сила? — Поп вопросительно посмотрел на Максима. — Есть она?

Максим пожал плечами:

— Не знаю.

— Я тоже не знаю.

— Вот те раз!..

— Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это — океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость... — Поп выпил спирт, опять промакнул скатертью губы. — Когда мы пьем это, — мы черпаем из океана, в надежде достичь дна. Но — стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся — мы обречены.

— Ты прости меня... Можно я одно замечание сделаю?

— Валяй.

— Ты какой-то... интересный поп. Разве такие попы бывают?

— Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно.

— Значит, если я тебя правильно понял, бога нет?

— Я сказал — нет. Теперь я скажу — да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на двадцать пять процентов водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно! — Поп выпил. — Теперь я скажу, что бог — есть. Имя ему — Жизнь. В этого бога я верую. Это — суровый, могучий бог. Он предлагает добро и зло, вместе, — это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза — делаешь вид, что тебе интересно слушать...

Максим пошевелился на стуле.

— Не менее интересно понять мне, что всё-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить: что же верно? Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо того чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому, в соответствии с этим моим богом, я говорю: душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрена мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай, и ад. — Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. — Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других... Зло? Ну — зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам по морде. Никаких — «подставь правую». Дам по морде, и баста.

— А если у него кулак здоровей?

— Значит, такая моя доля — за ним бежать.

— А куда бежим-то?

— На кудыкину гору. Какая тебе разница — куда? Все в одну сторону, — добрые и злые.

— Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь, — сказал Максим.

— Значит, слаб в коленках. Значит, доля такая — скулить на месте.

Максим стиснул зубы... Въелся горячим злым взглядом в попа.

— За что же мне доля такая несчастная?

— Слаб. Слаб, как... вареный петух. Не вращай глазами.

— Попяра!.. А если я счас, например, тебе дам разок по лбу, то как?

Пол громко, густо — при больных-то легких! — расхохотался.

— Видишь, — показал он свою ручищу, — надежная: произойдет естественный отбор.

— А я ружье принесу.

— А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь, ибо ты слаб.

— Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?

— Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Ты самолетом летал? — спросил поп.

— Летал. Много раз.

— А я летел вот сюда первый раз. Грандиозно! Когда я садился в него, я думал: если этот летающий барак навернется, значит, так надо. Жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу! А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже его погладил по боку — молодец. В самолет верую. Вообще, в жизни много справедливого. Вот, жалеют: Есенин мало прожил. Ровно — с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.

— А у вас в церкви... как заведут...

— А у нас не песня, у нас — стон. Нет, Есенин... Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?

— Люблю.

— Споем?

— Я не умею.

— Слегка поддерживай, только не мешай.

И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда — защемило в груди. На словах «ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий» поп ударил кулаком в столешницу и заплакал.

— Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю. Справедливо? Справедливо. Поздно? Поздно...

Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа.

— Отец! Отец!.. Слушай сюда!

— Не хочу! Ты слаб в коленках...

— Я таких, как ты, обставлю на первом же километре! Слаб в коленках... Тубик.

— Молись! — Поп встал. — Повторяй за мной...

— Пошел ты!

Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой.

— Повторяй за мной: верую!

— Верую! — сказал Максим.

— Громче! Торжественно: ве-рую! Вместе: ве-ру-ю-у!

— Ве-ру-ю-у! — заблажили вместе.

Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил:

— В авиацию, в химизацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! — ибо это объективно-о! Вместе! За мной!..

Вместе заорали:

— Верую, что скоро все побегут прочь из городов в чисто поле!.. Верую!

— Верую-у!

— В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мякоть телесную-у!..

...Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел: громадина-поп бросал с маху вприсядку могучее тело свое и орал, нахлопывая себя по бокам и по груди:

— Эх, верую, верую!
Ту-ды, ту-ды, ту-ды — раз!

Верую, верую!
М-па, м-па, м-па — два!
Верую, верую!..

А вокруг попа, подбоченясь, мелко семенил Максим и бабьим голосом громко вторил:

— У-тя, у-тя, у-тя — три!
Верую, верую!
Е-тя, е-тя — все четыре!

— За мной! — восклицал поп.

— Верую! Верую!

Максим пристраивался в затылок попу, они, приплясывая, молча совершали круг по избе, потом поп опять бросался вприсядку, как в прорубь, распахивал руки... Половицы гнулись.

— Эх, верую, верую!
Ты-на, ты-на, ты-на — пять!
Все оглобельки — на ять!
Верую! Верую!
А где шесть, там и шерсть!
Верую! Верую!

Оба, поп и Максим, плясали с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они — пляшут. Тут — или плясать, или рвать на груди рубаху и плакать и скрипеть зубами.

Илюха посмотрел-посмотрел на них и пристроился плясать, время от времени он тоненько кричал: «Их-ха! Их-ха!»

Рубаха на попе — на спине — взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц: он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще подточить тугие его жилы. Их, наверно, не так легко перекусить: раньше он всех барсуков слопает. А надо будет, если ему посоветуют, попросит принести волка пожирнее — он так просто не уйдет.

— За мной! — опять велел поп.

И трое, во главе с яростным, раскаленным попом, пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы... На столе задребезжали тарелки и стаканы.

— Эх, верую! Верую!..

НОЛЬ-НОЛЬ ЦЕЛЫХ

Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он «в такое горячее время...» — «У вас вечно горячее время! Все у вас горячее, только зарплата холодная». Директор написал на его заявлении:

«Уволить по собств. желанию».

Осталось взять трудовую книжку.

За ней Колька и пришел.

Книжку должен был выдать Синельников Вячеслав Михайлович, человек приезжий. Колька слышал про него, что он — зануда.

— Почему увольняешься? — Синельников устало смотрел на Кольку.

— Мало платят.

— Сколько?



— Чего «сколько»?
— Сколько, ты считаешь, мало?
— Шестьдесят—семьдесят... А то и меньше.
— Ну. А тебе сколько надо?
— Мне-то? Три раза по столько.

Синельников не удивился, не улыбнулся такому нахальству.

— Не хватало, значит?

— Не то что не хватало, а даже совестно: руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился, а... Тьфу! — Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. — Все.

— И куда?

— Счас-то? Ямы под опоры пойду рыть. На тридцать седьмой километр.

— Специальность в кармане, а ты — ямы рыть. Ты же водитель второго класса...

— А что делать?

— Водку поменьше пить. — Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает.

Колька уставился в кроткие, неопределенного цвета глаза Синельникова... Пошевелил ноздрями и сказал, как он потом уверял всех, вежливо:

— Прошу на стол мою трудовую книжку. Без бюрократства. Без этих, знаете, штучек.

— Каких это штучек?

— Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел.

— И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он пришел... Водку жрать у них денег хватает, а тут, видите ли, — мало платят. — Странно, Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь...

быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже. — Глоты. И сосут, и сосут, и сосу-ут эту водку!.. Как не надоест-то? Очуметь же можно. Ведь Америку уже догнали по потреблению. Куда же дальше-то?.. Глоты несчастные.

Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так чтоб — «глот», да еще «несчастный»... Нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а по-видимому, этот ровный, унылый тон, каким они говорились: как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать и уж так — выговаривают что положено, но без всякой надежды.

— Да что за мать — перемать-то! — возмутился Колька. — Ты что... чернил, что ли, — выпил? Чего ты пилить-то принялся? Гляди-ка, сел верхом и давай плешь грызть. Да ты что? Тебе что, делать, что ли, нечего, бюрократ?

Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании; он даже голову рукой подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную, необидную критику.

— Продолжай.

— Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку.

— А хочешь, я тебе туда статью вляпаю?

— За что? — растерялся Колька.

— За буйство. За недисциплинированность... Ма-аленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь станцуешь краковяк. — Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но он даже и наслаждался-то как-то уныло, невыразительно.

— За что же ты мне пометочку сделаешь?

— Сделаю пометочку, ты придешь ямы копать под опоры, а Тебе скажут: «Э-э, голубчик, а у тебя тут...

Нет, скажут, нам таких не надо». И все. И отполучал ты по двести рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай, не показывай норки-то, не показывай. Он, видите ли, лаяться будет тут... Дерьмо. — Синельников все не повышал голоса, он даже и голову не отнял от руки — все сидел, как в президиуме.

— Кто? — спросил Колька. — Как ты сказал?

— Чего «кто»?

— Я-то? Как ты сказал?

— Дерьмо, сказал.

Колька взял пузырек с чернилами и плеснул на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось... Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек... Плеснул — так вышло. Синельников отнял руку от головы... Чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли... Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел рубашку и брюки; пиджак не успел промокнуть, на брюки тоже не попало.

— Так... — сказал Синельников. — Выбирай: двадцать рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд — за оскорбление действием.

— Ты же первый начал оскорблять...

— Я словами, никто не слышал, чернила — вот они, налицо... Причем химические. — И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек! — Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами... Двадцать пять рублей. — Синельников взялся за телефон. — Решай. А то... звоню в милицию.

Колька минутами раньше понял, что — лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах стал нагло завышать цену.

— Почему двадцать пять-то? То — двадцать, а то сразу — двадцать пять. Еще посидим, ты до полста догонишь?..

— Пять рублей — это дорога в район: туда и обратно. Я сразу не сообразил...

— Что, по два с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутной любой с ветерком довезет.

— На попутной я не хочу. Туда на попутной, а оттуда такси возьму.

— Фон-барон нашелся!.. На такси-и.

— Да, на такси. Что — дико?

— Не дико, а... на дармовщинку-то выдрючиваться — неужели не совестно?

— Ты меня чернилами окатил — тебе не совестно? Что же я — за свой собственный костюм — на попутных буду маяться. Двадцать пять. Пиши.

— Чего?

— Расписку. — Синельников пододвинул Кольке лист бумаги.

Колька брезгливо взял лист...

— Как писать-то?

— Я, такой-то, полностью имя, отчество, обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу двадцать пять . — прописью — рублей, ноль-ноль копеек...

Колька зло усмехнулся, покачал головой.

— Ноль-ноль копеек!.. Командующий, мля!

— Ноль-ноль копеек — за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова вэ, эм.

Колька остановился писать.

— Для чего же писать «умышленную»? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут... Начнут придираться, мля.

Синельников подумал.

— Ладно, пиши: за порчу костюма товарища... белото костюма товарища Синельникова вэ, эм...

Колька пропустил слова «товарища», написал: «белого костюма Синельникова...»

— Химическими чернилами...

Колька взял пузырек, посмотрел.

— Разве для авторучек бывают химические?

— А какие же? Отчетные ведомости мы только химическими пишем.

— Писатели, мля, — проворчал Колька.

— Подпись. Число.

Колька расписался. Поставил число. Синельников взял расписку.

— Сколько тебе под расчет причитается?

— А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь.

— После обеда зайдешь за расчетом. И за книжкой.

Колька встал.

— Ты это... не говори никому, что... стунил с меня четвертной. А то дойдет до моей... хаю не оберешься. Напиши чего-нибудь.

— Ладно.

Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него.

— Что?

— Хо-о, — оказал Колька. Качнул головой и вышел из кабинета.

В коридоре разок про себя матюкнулся.

«Четвертной — как псу под хвост сунул. Свернул трубочкой и сунул». Но вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по двести—двести пятьдесят рублей... И успокоился.

КРЕПКИЙ МУЖИК

В третьей бригаде колхоза «Гигант» сдали в эксплуатацию новое складское помещение. Из старого склада — из церкви — вывезли пустую бочкотару, мешки с цементом, сельповские кули с сахаром-песком, с солью, вороха рогожи, сбрую (коней в бригаде всего пять, а сбруи нашито на добрых полтора десятка. Оно бы ничего, запас карман не трет, да мыши окаянные... И дегтярили, и химией обсыпали сбрую — грызут), метлы, грабли, лопаты... И осталась она — пустая церковь, вовсе теперь никому не нужная. Немая. Она хоть небольшая, церковка, а оживляла деревню (некогда — сельцо), собирала ее вокруг себя, далеко выставляла напоказ.



Бригадир Шурыгин Николай Сергеевич постоял перед ней, подумал... Подошел к стене, поколупал кирпичи подвернувшимся ломиком, закурил, еще подумал и пошел домой.

Встретившись через два дня с председателем колхоза, Шурыгин сказал:

— Церква-то освободилась теперь...

— Ну.

— Чего с ней делать-то?

— Закрой, да пусть стоит. А что?

— Там кирпич добрый, я бы его на свинарник пустил, чем с завода-то возить.

— Ее разбирать — надо пятерым полмесяца возиться. Там не кладка, а литье. Черт их знает, как они так клали!

— Я ее свалю.

— Как?

— Так. Тремя тракторами зацеплю — слетит, как миленькая.

— Попробуй.

В воскресенье Шурыгин стал пробовать. Подогнал три могучих трактора... На разной высоте обвели церковку тремя толстыми тросами, под тросы — на углах и посреди стены — девять бревен...

Сперва Шурыгин распоряжался этим делом, как всяким делам: крикливо, с матерщиной. Но когда стал сбегаться народ, когда кругом стали ахать и охать, стали жалеть церковь, Шурыгин вдруг почувствовал себя важным деятелем с неограниченными полномочиями. Перестал материться и не смотрел на людей — вроде и не слышал их и не видел.

— Николай, да тебе велели, али как? — опрашивали. — Не сам ли уж надумал?

— Мешала она тебе?!

Подвыпивший кладовщик, Михайло Беляков, полез под тросами к Шурыгину.

— Колька, прибит твою... ты зачем это?

Шурыгин всерьез затрясся, побелел:

— Вон отсудова, пьяная харя!

Михайло удивился и попятился от бригадира. И вокруг все удивились и примолкли. Шурыгин сам выпивать горазд и никогда не обзывал «пьяной харей». Что с ним?

Между тем бревна закрепили, тросы подравняли... Сейчас взревут тракторы и произойдет нечто небывалое в деревне — упадет церковь. Люди постарше все крещены в ней, в ней отпевали усопших дедов и прадедов, как небо привыкли видеть каждый день, так и ее...

Опять стали раздаваться голоса.

— Николай, кто велел-то?

— Да сам он!.. вишь, морду воротит, черт.

— Шурыгин, прекрати своевольничать!

Шурыгин — ноль внимания. И все то же сосредоточенное выражение на лице, та же неподкупная строгость во взгляде. Подтолкнули из рядов жену Шурыгина, Кланьку... Кланька несмело — видела: что-то непонятное творится с мужем — подошла.

— Коль, зачем свалить-то хочешь?

— Вон отсудова! — велел и ей Шурыгин. — И не лезь!

Подошли к трактористам, чтобы хоть оттянуть время — побежали звонить в район и домой к учителю. Но трактористам Шурыгин посулил по бутылке на брата и наряд «на исполнение работ».

Прибежал учитель, молодой еще человек, уважаемый в деревне.

— Немедленно прекратите! Чье это распоряжение? Это семнадцатый век!..

— Не суйтесь не в свое дело, — сказал Шурыгин.

— Это мое дело! Это народное д е л о ! .. — Учитель волновался, поэтому не мог найти сильные, убедительные

слова, только покраснел и кричал. — Вы не имеете права! Ее враги не тронули!.. Варвар! Я буду писать!..

Шурыгин махнул трактористам... Моторы взревели. Тросы стали натягиваться. Толпа негромко, с ужасом вздохнула. Учитель вдруг сорвался с места, забежал с той стороны церкви, куда она должна была упасть, стал под стеной.

— Ответишь за убийство! Идиот...

Тракторы остановились.

— Уйди-и! — заревел Шурыгин. И на шее у него вспухли толстые жилы.

— Не смей трогать церковь! Не смей!

Шурыгин подбежал к учителю, схватил его в беремя и понес прочь от церкви. Щуплый учитель вырывался, как мог, но руки у Шурыгина крепкие.

— Давай! — крикнул он трактористам.

— Становитесь все под стену! — кричал учитель всем. — Становитесь!.. Они не посмеют! Я поеду в область, ему запретят!..

— Давай, какого!.. — заорал Шурыгин трактористам.

Трактористы взялись за рычаги...

— Становитесь под стену! Становитесь все!...

Но никто не двинулся с места. Всех парализовало неистовство Шурыгина. Все — молчали. Ждали.

Тросы натянулись, заскрипели, затрещали, зазвенели... Хрустнуло одно бревно, трос, врезавшись в угол, запел балалаечной струной. Странно, что все это было хорошо слышно — ревели же три трактора, напрягая свои железные силы. Дрогнул верх церкви... Стена, противоположная той, на какую сваливали, вдруг разодралась по всей ширине... Страшная, черная в глубине, рваная щель на белой стене пошла раскрываться. Верх церкви с маковкой поклонился, поклонился и ухнул вниз. Земля вздрогнула, как от снаряда, все заволокло пылью.

Шурыгин отпустил учителя, и тот, ни слова не говоря, пошел прочь от церкви.

Два трактора еще продолжали скрести гусеницами землю. Средний по высоте трос прорезал угол и теперь без толку крошил кирпичи двух стен, все глубже врезаясь в них.

Шурыгин остановил тракторы. Начали по новой заводить тросы.

Народ стал расходиться. Остались самые любопытные и ребятишки.

Через три часа все было кончено. От церкви остался только невысокий, с неровными краями остов. Церковь лежала бесформенной грудой, прахом. Тракторы уехали.

Потный, весь в пыли и известке, Шурыгин пошел звонить из магазина председателю колхоза.

— Все, угорела! — закричал в трубку.

Председатель, видно, не понял, кто угорел.

— Да церква-то! Все, мол, угорела! Ага. Все в порядке. Учитель тут пошумел малость... Но! Учитель, а хуже старухи. Да нет, все в порядке. Гробанулась здорово! Покрошилось много, ага. Причем они так: по три, по четыре кирпича — кусками. Не знаю, как их потом долбать... Попробовал ломиком — крепкая, зараза. Действительно, литье. Но! Будь здоров! Ничего.

Шурыгин положил трубку. Подошел к продавщице, которую не однажды поднимал ночами с постели — кто-нибудь приезжал из района рыбачить, засиживались после рыбалки у бригадира до вторых петухов.

— Видела, как мы церкву уговорили? — Шурыгин улыбался, довольный.

— Дурацкое дело нехитрое, — не скрывая злости, сказала продавщица. — Лыбится стоит...

— Почему дурацкое? — Шурыгин перестал улыбаться.

— Мешала она тебе стояла?

— А чего ей зря стоять? Хоть кирпич добудем...

— А то тебе, бедному, негде кирпич достать! Идиот.

— Халява! — тоже обозлился Шурыгин. — Не понимаешь, значит, помалкивай.

— Разбуди меня еще раз посередь ночи, разбуди, я те разбужу! Халява... За халяву-то можно и по морде получить. Дам вот счас гирькой по кумполу, узнаешь халяву.

Шурыгин хотел еще как-нибудь обозвать дуру продавщицу, но подошли вездесущие бабы.

— Дай бутылку.

— Иди промочи горло-то, — заговорили сзади. — Пересохло!

— Как же — пыльно!

— Руки чесались, у дьявола...

Шурыгин пооглядывался строго на баб, но их — много, не перекричать. Да и злость их — какая-то необычная: всерьез ненавидят. Взял бутылку, пошел из магазина. На пороге обернулся, сказал:

— Я вам прижму хвосты-то!

И скорей ушел.

Шел, злился.

«Ведь все равно же не молились, паразитки, а теперь хай устраивают. Стояла — никому дела не было, а теперь хай подняли».

Проходя мимо бывшей церкви, Шурыгин остановился, долго смотрел на ребятишек, копавшихся в кирпичах. Смотрел и успокаивался.

«Вырастут, будут помнить: при нас церкву свалили. Я вон помню, как Васька Духанин с нее крест своротил. А тут — вся грохнулась. Конечно, запомнят. Будут своим детишкам рассказывать: дядя Коля Шурыгин зацепил тросами и . . . — Вспомнилась некстати продавщица, и Шурыгин додумал зло и непреклонно: — И нечего ей стоять, глаза мозолить».

Дома Шурыгина встретили форменным бунтом: жена, не приготовив ужина, ушла к соседкам, хворая мать заругалась с печки.

— Колька, идол ты окаянный, грех-то какой взял на душу!.. И молчал, ходил молчал, дьяволина... Хоть бы заикнулся раз, — тебя бы, может, образумили добрые люди. Ох, горе ты мое горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди. Проклянут ведь тебя, прокляну-ут! И знать не будешь, откуда напасти ждать: то ли дома окочурисся в одночасье, то ли где лесиной прижмет невзначай....

— Чего эт меня проклинать-то возьмутся? От нечего делать?

— Да грех-то какой!

— Ваську Духанина прокляли — он крест своротил? Наоборот, большим человеком стал...

— Тада время было другое. Кто тебя счас-то подталкивал рушить ее? Кто? Дьявол зудил руки... Погоди, тебя ишо и сама власть взгреет за это. Он вот учитель-то пишет, сказывали, он вот напишет, куда следоват — узнаешь. Гляди-ко, тогда устояла, матушка, так он теперь нашелся. Идол ты, идол лупоглазый.

— Ладно, лежи хворай.

— Глаз теперь не кажи на люди...

— Хоть бы молиться ходили! А то стояла — никто не замечал...

— Пошто это не замечали! Да, бывало, откуда ни идешь, а ее уж видишь. И как ни пристанешь, а увидишь ее — вроде уж дома. Она сил прибавляла...

— Сил прибавляла... Ходят они теперь пешком-то! Атомный век, понимаешь, они хватились церкву жалеть. Клуба вон нету в деревне — ни один черт не охнет, а тут — загоревали. Переживут!

— Ты-то переживи теперь! Со стыда теперь усохнешь...

Шурыгин, чтобы не слышать материного ворчанья, ушел в горницу, сел к столу, налил сразу полный стакан водки, выпил. Закурил.

«К кирпичам, конечно, ни один дьявол не притронется, — подумал. — Ну и хрен с ними! Сгребу бульдозером в кучу, и пусть крапивой зарастает».

Жена пришла поздно. Шурыгин уже допил бутылку, хотелось выпить еще, но идти и видеть злую продавщицу не хотелось — не мог. Попросил жену:

— Сходи возьми бутылку.

— Пошел к черту! Он теперь дружок тебе.

— Сходи, прошу...

— Тебя просили, ты послушал? Не проси теперь и других. Идиот.

— Заткнись. Туда же...

— Туда же! Туда же, куда все добрые люди! Неужели туда же, куда ты, харя необразованная? Просили, всем миром просили — нет! Вылупил шары-то свои...

— Замолчи! А то опояшу разок...

— Опояшь! Тронь только, харя твоя бесстыжая!.. Только тронь!

«Нет, это, пожалуй, на всю ночь. С ума посходили люди».

Шурыгин вышел во двор, завел мотоцикл... До района восемнадцать километров, там магазин, там председатель колхоза — тоже крепкий мужик, не эти слизняки. Можно выпить, поговорить. Кстати, рассказать, какую ему тут забастовку устроили... Хоть посмеяться.

На повороте из переулка свет фары выхватил из тьмы безобразную груду кирпича, пахнуло затхлым духом потревоженного подвала.

«Семнадцатый век, — вспомнил Шурыгин. — Вот он, твой семнадцатый век! Писать он, видите ли, будет. Пиши, пиши».

Шурыгин наддал газку... И пропел громко, чтобы все знали, что у него — от всех этих проклятий — прекрасное настроение:

Што ты, што ты, што ты, што ты!
Я солдат девятой роты,
Тридцать первого полка...
Оп, тирдар-пупия!

Мотоцикл вырулил из деревни, воткнул в ночь сверкающее лезвие света и помчался по накатанной ровной дороге в райцентр. Шурыгин уважал быструю езду.

ДЕБИЛ

Анатолия Яковлева прозвали на селе обидным, дурацким каким-то прозвищем — «Дебил». Дебил — это-так прозвали в школе его сына, Ваську, второгодника, отпетого шалопая. А потом это словцо пристало и к отцу. И ничего с этим не поделаешь — Дебил и Дебил. Даже жена сгоряча, когда ругалась, тоже обзывала — Дебил. Анатолий психовал, один раз «приварил» супруге, сам испугался и долго ласково объяснял ей, что Дебил — так можно называть только дурака-переростка, который учиться не хочет, с которым учителя мучаются. «Какой же я Дебил, мне уж сорок лет скоро! Ну?.. Лапочка ты моя, синеокая ты моя... Свинцовой примочкой надо — глаз-то. Купить?»



Так довели мужика с этим Дебилом, что он поехал в город, в райцентр, и купил в универмаге шляпу. Вообще, он давненько приглядывался к шляпе. Когда случалось бывать в городе, он обязательно заходил в отдел, где продавались шляпы, и подолгу там ошивался. Хотелось купить шляпу! Но... Не то что денег не было, а — не решался. Засмеют деревенские: они нигде не бывали, шляпа им в диковинку. Анатолий же отработал на Севере по вербовке пять лет и два года отсидел за нарушение паспортного режима — он жизнь видел; знал, что шляпа украшает умного человека. Кроме того, шляпа шла к его широкому лицу. Он походил в ней на культурного китайца. Он на Севере носил летом шляпу, ему очень нравилось, хотелось даже говорить с акцентом.

В этот свой приезд в город, обозлившись и, вместе, обретя покой, каким люди достойные, образованные охраняют себя от насмешек, Анатолий купил шляпу. Славную такую, с лентой, с продольной луночкой по верху, с вмятинками — там, где пальцами браться. Он их перемерил у прилавка уйму. Осторожненько брал тремя пальцами шляпу, легким движением насаживал ее, пушиночку, на голову и смотрелся в круглое зеркало. Продавщица, молодая, бледнолицая, не выдержала, заметила строго:

— Невесту, что ли, выбираете? Вот выбирает, вот выбирает, глядеть тошно.

Анатолий спокойно спросил:

— Плохо ночь спали?

Продавщица не поняла. Анатолий прикинул еще парочку «цивилизейшен» (так он про себя называл шляпы), погладил их атласные подкладки, повертел шляпы так, этак и лишь после того, отложив одну, сказал:

— Невесту, уважаемая, можно не выбирать: все равно ошибешься. А шляпа — это продолжение человека.

Деталь. Поэтому я и выбираю. Ясно? Заверните. — Анатолий порадовался, с каким спокойствием, как умно и тонко, без злости, отбрил он раздражительную продавщицу. И еще, он заметил: купив шляпу, неся ее, легкую, в коробке, он обрел вдруг уверенность, не толкался, не суетился, с достоинством переждал, когда тупая масса протиснется в дверь, и тогда только вышел на улицу. «Оглоеды, — подумал он про людской поток в целом. — Куда торопитесь? Лаяться? Психовать? Скандалить и пить водку? Так вы же успеете! Можно же не торопиться».

По дороге он купил в мебельном этажерку. От шоссе до дома шел не торопясь; на руке, на отлете, этажерочка, на голове шляпа. Трезвый. Он заметил, что встречные и поперечные смотрят на него с удивлением, и ликовал в душе.

«Что, не по зубам? Привыкайте, привыкайте. А то попусту-то языком молоть вы мастера, а если какая сенсация, у вас сразу глаза на лоб. Туда же — обзываться! А сами от фетра онемели. А если бы я сомбреро надел? Да ремешком пристегнул бы ее к челюсти — что тогда?»

На жену Анатолия шляпа произвела сильное впечатление: она стала квакать (смеяться) и проявлять признаки тупого психоза.

— Ой, умру! — сказала она с трудом.

— Схороним, — сдержанно обронил Анатолий, устраивая этажерку у изголовья кровати. Всем видом своим он являл непреклонную интеллигентность.

— Ты что, сдурел? — спросила жена.

— В чем дело?

— Зачем ты ее купил-то?

— Носить.

— У тебя же есть фуражка!

— Фуражку я дарю вам, синьорина, — в коровник ходить.

— Вот идиот-то. Она же тебе не идет. Получилось знаешь что: на тыкву надели ночной горшок.

Анатолий с прищуром посмотрел на жену... Но интеллигентность взяла верх. Он промолчал.

— Кто ты такой, что шляпу напялил? — не унималась жена. — Как тебе не стыдно? Тебе, если по-честному-то, не слесарем даже, а навоз вон на поля вывозить, а ты — шляпу. Да ты что?!

Анатолий знал лагерные выражения и иногда ими пользовался.

— Шалашня! — сказал он. — Могу ведь смазь замастырить. Замастырить?

— Иди, иди — покажись в деревне. Тебе же не терпится, я же вижу. Смеяться ведь будут!..

— Смеется тот, кто смеется последний.

С этими словами Анатолий вышел из дома. Правда, не терпелось показать шляпу пошире, возможно даже позволить кому-нибудь подержать в руках — у кого руки чистые.

Он пошел на речку, где по воскресеньям торчали на берегу любители с удочками.

По-разному оценили шляпу: кто посмеялся, кто сказал, что — хорошо, глаза от солнышка закрывает... Кто и вовсе промолчал — шляпа и шляпа, не гнездо же сорочье на голове. И только один...

Его-то, собственно, и хотел видеть Анатолий. Он — это учитель литературы, маленький, ехидный человек. Глаза как у черта, — светятся и смеются. Слова не скажет без подковырки. Анатолий подозревал, что это с его легкой руки он сделался Дебилом. Однажды они с ним повздорили. Анатолий и еще двое подрядились в школе провести заново электропроводку (старая от известки испортилась, облезла). Анатолий проводил как раз в учительской, когда этот маленький попросил:

— А один конец вот сюда спустите: здесь будет настольная лампа.

— Никаких настольных л а м п , — ответствовал Анато-л и й . — Как было, так и будет — по старой ведем.

— Старое отменили.

— Когда?

— В семнадцатом году.

Анатолий обиделся.

— Слушайте... вы сильно ученый, да?

— Так... средне. А что?

— А то, что... не надо здесь острить. Ясно? Не надо.

— Не б у д у , — согласился учитель. Взял конец провода, присоединил к общей линии и умело опустил его к столу. И привернул розетку.

Анатолий не глядел, как он работает, делал свое дело. А когда учитель, довольный, вышел из учительской, Анатолий вывернул розетку и отсоединил конец. Тогда они и повздорили. Анатолий заявил, что «нечего своевольничать! Как было, так и будет. Ясно?» Учитель сказал: «Я хочу, чтобы ясно было вот здесь, за столом. Почему вы вредничаете?» — «Потому, что... знаете? — нечего меня на понт брать! Ясно? А то ученых развелось — не пройдешь, не проедешь». Почему-то Анатолий невзлюбил учителя. Почему? — он и сам не понимал. Учитель говорил вежливо, не хотел обидеть...

Всякий раз, когда Анатолий встречал учителя на улице, тот первым вежливо здоровался... и смотрел в глаза Анатолию — прямо и весело. Вот, пожалуй, глаза-то эти и не нравились. Вредные глаза! Нет, это он пустил по селу «Дебила», он, точно.

Учитель сидел на коряжке, смотрел на поплавок. На шаги оглянулся, поздоровался, скорей, машинально... Отвернулся к своему поплавку. Потом опять оглянулся... Анатолий смотрел на него сверху, с берега. В упор смотрел, снисходительно, с прищуром.

— Здравствуйте! — сказал у ч и т е л ь. — А я смотрю: тень какая-то странная на воде образовалась... Что та-

кое, думаю? И невдомек мне, что это — шляпа. Славная шляпа! Где купили?

— В городе. — Анатолий и тон этот подхватил — спокойный, подчеркнуто спокойный. Он решил дать почувствовать «ученому», что не боги горшки обжигают, а дед Кузьма. — Нравится?

— Шикарная шляпа!

Анатолий опустился с бережка к коряжке, присел на корточки.

— Клюет?

— Плохо. Сколько же стоит такая шляпа?

— Дорого.

— Мгм. Ну, теперь надо беречь. На ночь надо в газетку заворачивать. В сетку — и на стенку. Иначе поля помнутся. — Учитель посмотрел искоса — весело — на Анатолия, на шляпу его...

— Спасибо за совет. А зачем же косяк давить? Мм?

— Как это? — не понял учитель.

— Да вот эти вот взгляды... косые — зачем? Смотреть надо прямо — открыто, честно. Чего же на людей коситься? Не надо.

— Да... Тоже спасибо за совет, за науку. Больше не буду. Так... иногда почему-то хочется искоса посмотреть, черт его знает почему.

— Это неуважение.

— Совершенно верно. Невоспитанность! Учишь, учишь эти правила хорошего тона, а все... Спасибо, что замечание сделали. Я ведь тоже — интеллигент первого поколения только. Большое спасибо.

— Правила хорошего тона?

— Да. А что?

— Изучают такие правила?

— Изучают.

— А правила ехидного тона?

— Э-э, тут... это уж природа-матушка сама распоря-

жается. Только собственная одаренность. Талант, если хотите.

— Клюет!

Учитель дернул удочку... Пусто.

— Мелюзга балуется, — сказал он.

— Мули.

— Что?

— У нас эту мелочь зовут мулишками. Муль — рыбка такая. Ма-а-ленькая... Считаете, что целесообразней с удочкой сидеть, чем, например, с книжкой?

— Та ну их!.. От них уж голова пухнет. Читаешь, читаешь... Надо иногда и подумать. Тоже не вредно. Правда?

— Это, смотря в каком направлении думать. Можно, например, весь день усиленно думать, а оказывается, ты обдумывал, как ловчей магазин подломить. Или, допустим, насолить теще...

Учитель засмеялся.

— Нет, в шляпе такие мысли не придут в голову. Шляпа, знаете, округляет мысли. А мысль про тещу — это все-таки довольно угловатая мысль, с зазубринами.

— Ну, и о чем же вы думаете? С удочкой-то?

— Да разное.

— Ну, все же?

— Ну, например, думаю, как... Вам сколько лет? — Учитель весело посмотрел на Анатолия. Тот почему-то вспомнил «Дебила».

— Сорок. А что?

— И мне сорок. Вам не хочется скинуть туфли, снять рубашку — и так пройтись по селу? А?

Анатолий стиснул зубы... Помолчал, через силу улыбнулся.

— Нет, не хочется.

— Значит, я один такой... Серьезно, сижу и думаю: хорошо бы пройтись босиком по селу! — Учитель гово-

рил искренне. — Ах, славно бы! А вот не пройдешь... Фигушки!

— Да... — неопределенно протянул Анатолий. Подобрал у ног камешек, хотел бросить в воду, но вспомнил, что учитель удит, покидал камешек на ладони и положил на место. И еще сказал непонятно: — Так-так-так...

— Слушайте, — заговорил учитель горячо и серьезно, — а давайте скинем туфли, рубашки и пройдемся! Какого черта! Вместе. Я один так и не осмелюсь... Будем говорить о чем-нибудь, ни на кого не будем обращать внимания — и пройдемся. А вы даже можете в шляпе!

Анатолий, играя скулами, встал.

— Я предлагаю тогда уж и штаны снять. А то — жарко.

— Ну-ну, не поняли вы меня.

— Все понятно, дорогой товарищ, все понятно. Продолжайте думать... в таком же направлении.

Анатолий пошел вразвалочку по бережку... Отошел метров пять, снял шляпу, зачерпнул ею воды, напился... Отряхнул шляпу, надел опять на голову и пошагал дальше. На учителя не оглянулся. Пропел деланно беспечно:

Я ехала домо-ой,
Я думала о ва-ас;
Блестяща мысль моя и путалась и рвалась...

Помолчал и сказал:

— В гробу я вас всех видел. В белых тапочках.

ПЕТЯ

Двухэтажная гостиница городка «Н» хлопает дверьми, громко разговаривает, скрипит панцирными сетками кроватей, обильно пьет пиво...

Воскресенье. Делать нечего, я сижу спиной к дверям, к разговорам гостиничным и наблюдаю за Петей. Он живет напротив, в длинном, низком строении; окно моего номера выходит к нему во двор.

Петя — маленький, толстенький, грудь колесом, ушки топориком, нижняя челюсть — вперед... Это, конечно, хозяин. Я за ним дня три уже наблюдаю.

Сегодня Петя вышел часов в десять — отоспался — свеженький, теплый... С ходу неловко присел несколько



раз, помахал руками, крякнул, потом протяжно зевнул и пошел умываться к рукомойнику. Умывался долго, фыркал, крутил пальцами в ушах, хлопал ладошками себя по загривку... Возможно, Петя в глубине души считает, что когда он стоит вот так в наклон, раскорячив ноги, и крутит пальцами в ушах, — возможно, он считает, что на спине его в это время вспухают и перекатываются под кожей бугры мышц. Бугров нету, есть добрый слой жира, и он слегка шевелится. Петя любит свое конопатое тело: в субботу и в воскресенье до обеда он ходит по двору голый по пояс. И все поглаживает себя, похлопывает — все бьет каких-то невидимых мошек, комариков и разглядывает их. А то вдруг — ни с того ни с сего — шлепнет ладонью по груди и потом долго потирает грудь.

— Лялька, полотенец! — кричит Петя, кончив плескаться.

Лялька — жена Пети. Она выше его, сухая... Громко, показушно уважает мужа.

— Слышь?!

— Оу?!

— Полотенец!

— Несу-у!

Петя, растопырив руки в ожидании, прохаживается вдоль высокой поленницы дров. Ходит он враскорячку. Мне кажется, это у него — благоприобретенное, эта раскорячка. Подражает кому-то.

Лялька вынесла полотенце.

— Какую сорочку приготовить? Голубую или беленькую? — Лялька, фиксатая притвора, успевает зыркнуть глазами туда-сюда. — Я предлагаю голубенькую...

Петя не спеша вытирает руки, плечи... И думает.

— Голубую.

— Правильно. Она тебя молодит... — И опять глазами — зырк-зырк. О, эта Лялька, видала виды.

Петя вытирает лицо; Лялька стоит рядом, ждет. А у Пети-то пузцо! Молодое, кругленькое — этакая аккуратная мозоль. Петя демонстративно свесил пузцо с ремня — пусть все видят, что человек живет в довольстве.

— Какие запоночки дать: с янтаря или серебрушки? — озабочена Лялька.

Петя опять некоторое время думает.

— С янтаря.

Лялька взяла полотенце, вытерла со спины мужа какие-то видимые только ей капельки и ушла в дом. По обрывкам разговоров я еще раньше понял, что Лялька — буфетчица. Я только не понял, зачем ей надо, чтоб все видели, как она уважает мужа, ценит. Петя, как я догадываюсь, какой-то складской работник. Что тут: сокрытие какого-то ее греха? Игра в подкидного дурака?.. Не знаю, но демонстрирует она это свое уважение так, что в нос шибает.

— Петя! — кричит она, высовываясь из о к н а . — Галстук будешь одевать? А то я его поглажу...

Петя опять в затруднении.

— Та-а... не н а д о , — говорит он.

— А почему? Он же тебе очень идет.

— Гладь.

— Какой, красный?

— Красный.

Лялька уходит гладить красный галстук.

Петя по не забытой еще крестьянской привычке трогает штакетник, шатает. Кое-где поослабло. Петя останавливается и думает, глядя на штакетник, поглаживая себя правой рукой — от плеча к груди.

— Петь!.. — Лялька опять в о к н е . — Ты помнишь, как эта... вокруг тебя увивалась-то? «Петя, давайте я вам холодцу положу! Петя, вы летку-енку танцуете?» Лярва...

Петя, возможно, забыл, когда и кто вокруг него увивался, но ему приятно, что — увивались.

— Она сегодня опять будет. Смотри, не сули ей ничего! Ей шиферу надо, лярве.

Петя провел толстой, короткой ладонью по волосам.

— Ты про кого?

— А эта... не знаю, как ее фамилия, знакомая Колмаковых. Все летку-енку-то танцует...

— А-а, — вспомнил Петя. — А чего она хочет?

— Шиферу.

— А в нос не хочет? — Петя смеется молча, весь: подрагивает животик, подбородок, загривок — напряженно лоснится и дрожит.

Лялька смеется, как сухие бобы по полу сыплет, — мелко, часто и не смешно.

Отсмеялась и еще раз напоминает:

— Не сули, смотри, ничего. А то ты, выпимши, слабый...

— Я-то слабый? — Пете слегка не понравилось, что он бывает слабый.

— А у Маковкиных-то в прошлом году — помнишь? — Лялька опять просыпает горсть бобов — смеется. — Отливали-то...

— Та-а...

— Не сули ей никакого шиферу! А то она сама же разнесет потом: «Мне Петя шиферу посулил!»

— Да ну, что я?..

Петя сходил в сарайчик, принес гвозди, молоток. Не спеша прибил штакетины. Постоял, поиграл молотком, — видно, разохотился поработать, решает, что бы еще прибить.

А Лялька то и дело высовывается из окна.

— Петь, ты помнишь, я тебе пластинку на день рождения дарила? Там еще «Очи черные» были...

— А что?

— Где она?

— Не знаю. А что?

— Хочу взять ее. Может, споем. Чтобы она заткнулась со своей леткой...

— Нет, «Очи» нам не потянуть.

— Подпоем! Я вытяну.

— Не знаю... Там где-нибудь.

Петя подошел к крыльцу, постучал молоточкам.

— Нашла! Петь!..

— А?

— Нашла! Она сегодня заткнется... Я плечами трясти умею. Ты не видал?

— Нет.

— Счас... — Лялька на минуту исчезла... И вновь появилась — в цветастой шали, наброшенной на плечи. — Смотри! — И стала трясти плечами по-цыгански. Тощая грудь ее тоже затряслась — туда-сюда. Смотреть неприятно.

— Не вывихни кости-то, — сказал он. И поколебал животом — посмеялся.

— Получается? Петь...

— Получается.

Я так думаю, живет в Пете тоска по крупной, крепкой бабе. Но крепкие — не так суетливы и угодливы, отсюда этот странный союз. Лялька ублажает Петю, в этом все дело. Петя, этот сгусток неизработанных мышц и сала, явно болен ленивым каким-то, анемичным честолюбием... Впрочем, я гадаю. Много я тут не понимаю.

— Петя!..

— Ну?

— Тебе воды погреть — бриться?

Петя потрогал подбородок...

— Погрей.

— Погорячей сделать?

— Ну, так, чтоб терпеть можно. Ты помнишь Михеева?

— Какого Михеева?

— Из потребсоюза — Михеев... Я ему еще обсадных труб тридцать пять метров доставал... С шампанским как-то приходил, ты еще шампанским-то подавилась, мы хохотали долго...

— А-а, Михеев! Лысый такой?

— Ну. В пятницу звоню ему: мне надо было два гарнитура достать одному там — помоги, мол. Нет, говорит, у нас, говорит, ревизия недавно была... Поросенок. Ну ладно, думаю себе, я те сделаю в следующий раз, приткнешься.

Лялька прямо взвилась. Чуть из окна не вывалилась.

— Ты вот какой-то... Петя, ты пошто такой есть-то? Неужель ты людей не знаешь? Они вот пронюхали твою доброту и пользуются, и пользуются... Сволочи! Ты будь маленько... это... Ты уж какой-то очень добрый. И для всех ты готов все достать, все сделать... В лепешку готов расшибиться! А они потом нос воротют, сволочи. Ты думаешь, ты им в добро войдешь? На-ка!..

Петя принахмурился, отвернул голову... Вроде виноват. Виноват: добр без меры, без разбора. Глупо добр, а людишки этим пользуются. Вроде он все понимает, но...

— И обо всея у тебя душа болит, обо всех! Об себе только не болит. На кой они тебе черт нужны? Гляди-ка, ночи мужик не спит — думает, думает!.. — Лялька поддала в голосе — это тем, кто во дворе, кто может слышать. — Весь прямо извелся, извелся мужик, а они... Гляди-ка чё есть-то!..

Эта сельская пара давно уж не смущается здесь, в большом муравейнике, освоилась. Однако прихватили они с собой не самое лучшее, нет. Обидно. Стыдно. И злость берет.

Часам к трем Лялька и Петя выплывают из квартиры — пошли в гости.

Бывает так, что человек — вставлен в костюм, и костюм идет по улице самостоятельно, человек только

помогает ему передвигаться. С Петей не так. Петя идет сам — медленно, враскорячку — костюм удивительным образом подчеркивает то, что Петя не хочет скрывать: пузцо, смеющийся загривок и громадное удовлетворение. Покой.

Идут под руку. Лялька прилепилась к Пете, как чужая пожухлая ветка к дубку... Ветерок дергает ее, она не отцепляется. Трепещет, шумит листочками...

Недалеко от моего окна сидит на лавочке старушка. Целыми днями сидит и наблюдает за жизнью двора.

— Кака уважительна бабочка-то, — говорит старушка сама с собой, — цельный день только и слыхать: «Петя! Петя!» Дружно живут, дай господи. Дружная парочка...

Поздно вечером Петя с Лялькой возвращаются.

Петя слегка того... отяжелел. Сел на крыльце и не хочет идти домой.

— Пойдем, Петя, Петенька! — зовет Лялька.

— Не хочу, — бормочет Петя. — Не желаю.

— Петя!.. — чуть не плачет Лялька. — Я уж и так измучилась — ты вон какой тяжелый... Пойдем, Петенька. А? Пожалел бы меня... Пойдем, ненаглядный мой, ляжешь в кроватку — и баиньки, и баиньки... А?

— Не хочу, — гудит свинцовый Петя.

— Пойдем, Петенька. Ну-ка, — от-теньки — поднялись мы с Петей, пошли, пошли, пошли-и... Ненаглядный ты мой...

Кое-как увела Петеньку.

— Покуражился маленько, и пошел, — понимающе говорит старушка. — Славная парочка, дружная. Дай бог здоровья.

А меня вдруг пронизала догадка: да ведь любит она его, Лялька-то. Петю-то. Вот так: и виды видала, и любит. И гордится, и хвастает — все потому, что — любит.

ОБИДА

Сашку Ермолаева обидели.

Ну, обидели и обидели — случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни — это тоже, знаете... роскошь. Себе дороже, как говорят. Благоразумие — вещь не рыцарского сундука, зато — безопасно. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбаться, можете даже улыбнуться презрительно...

Но — к делу.

В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока, сказал дочери: «Маша, пойдешь со мной?»

— Куда? Гагазинчик? — обрадовалась малышка.



— В магазинчик. Молочка купим... А то мамка ругается, что мы в магазин не ходим, — пойдем сходим.

— В кои-то веки! — сказала озабоченная «мамка». — Посмотрите там еще рыбу — нотатения. Если есть, возьмите грамм триста.

— Это дорогая-то?

— Ничего, возьми — я ребятишкам поджарю.

И Сашка с Машей пошли «гагазинчик».

Взяли молока, взяли масла, пошли смотреть рыбу нотатению. Пришли в рыбный отдел, а там за прилавком — тетя.

Тетя была хмурая, — не выспалась, что ли. И почему-то ей показалось, что это стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош. Она спросила зло и строго:

— Ну, как — ничего?

— Что «ничего»? — не понял Сашка.

— Помнишь вчерашнее-то?

Сашка удивленно смотрел на тетю...

— Чего глядишь? Гляди-ит! Ничего не было, да? Глядит, как Исусик...

Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого «Исусика». Черт возьми совсем, где-то ты Александр Иванович, уважаемый человек, мастер, а тут... Но он даже не успел и подумать-то так — обида толкнулась в грудь, как кулаком дали.

— Слушайте, — сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды. — Вы, наверно, сами с похмелья?.. Что вчера было?

Теперь обиделась тетя. Она засмеялась презрительно:

— Забыл?

— Что я забыл? Я вчера на работе был!

— Да? И сколько плотют за такую работу? На работе он был. Да еще стоит рот разевает — «с похмелья». Сам не проспался еще.

Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почувствовал в то утро обиду, что последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже, когда и выпивал. И оттого еще, что держал за руку маленькую, родную руку дочери... Это при дочери его так! Но он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того — несгибаемая. Может, она и поняла, что обозналась, но не станет же она, в самом деле, извиняться перед кем попало. С какой стати?

— Где у вас директор? — самое сильное, что пришло Сашке.

— На месте, — спокойно сказала тетя.

— Где на месте-то? Где его место?

— Где положено, там и место. Для чего эт тебе директор-то? «Где директор»!.. Только и делов директору — с вами разговаривать! — Тетя повысила голос, приглашая к скандалу других продавщиц и покупателей старшего поколения. — Директора ему подайте! Директор на работу пришел, а не с вами объясняться. Нет, видите ли, дайте ему директора!

— Что там, Роза? — спросили тетю другие продавщицы.

— Да вот, директора стоит требует!.. Вынь да положь директора! Фон-барон. Пьянчуги.

Сашка пошел сам искать директора.

— Какая тетя... похая, — сказала Маша.

— Она не плохая, она... — Сашка не стал при ребенке говорить, какая тетя. Лицо его горело, точно ему ни за что ни про что — при всех! — надавали пощечин.

В служебном проходе ему загородил было дорогу парень-мясник.

— Чего ты волну-то поднял?

Но ему-то Сашка нашел, что сказать. И, видно, в глазах у Сашки стояло серьезное чувство — парень шагнул в сторону.

— Я не директор, — сказала другая тетя, в кабинетике. — Я завотделом. А в чем дело?

— Понимаете, — начал Сашка, — стоит... и начинает — ни с того ни с сего... За что?

— Вы спокойнее, спокойнее, — посоветовала завотделом.

— Я вчера весь день был на работе... Я даже в магазине-то не был! А она мне начинает: я, мол, чего-то такое натворил у вас в магазине. Я и в магазине-то не был!

— Кто говорит?

— В рыбном отделе стоит.

— Ну, и что она?

— Ну, говорит, что я, мол, что-то такое вчера натворил в магазине. Я вчера и в магазине-то не был.

— Так что вы волнуетесь-то, если не вы натворили? Не вы и не вы — и все.

— Она же хамить начала! Она же обзывается стоит!..

— Как обзывается?

— Исусик, говорит.

Завотделом засмеялась. У Сашки опять затряслись губы.

— Ну, пойдемте, пойдемте... что там такое — выясним.

И завотделом, а за ней Сашка — появились в рыбном отделе.

— Роза, что тут такое? — негромко спросила завотделом.

Роза тоже негромко — так говорят врачи между собой при больном — о больном же, еще на суде так говорят и в милиции — вроде между собой, но нисколько не смущаются, если тот, о ком говорят, слышит, Роза тоже негромко пояснила:

— Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнила, — сделал вид, что забыл. Да еще возмущенный вид сделал.

Сашку опять затрясло... Он, как этот... и трясся все утро, и трясся. Нервное желе, елки зеленые! А затрясло его опять потому, что завотделом слушала Розу и слегка — понимающе — кивала головой. И Роза тоже говорила не зло, а как говорят про дела известные, понятные, случающиеся чуть не каждый день. И они вдвоем понимали, хоть они сейчас даже и не смотрели на Сашку, что Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как «делать возмущенный вид».

Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным.

— А при чем здесь этот ваш говорок-то? — спросил он.

Завотделом и Роза даже не посмотрели на него. Разговаривали.

— А что сделал-то?

— Ну, выпил — не хватило. Пришел еще. А время вышло. Он — требовать...

— Звонили?

— Любка пошла звонить, а он, хоть и пьяный, а сообразил — ушел. Обзывал нас тут всяко...

— Слушайте! — вмешался опять в их разговор Сашка. — Да не был я вчера в магазине! Не был! Вы понимаете?

Роза и завотделом посмотрели на него.

— Не был я вчера в магазине, вы можете это понять?! Я же вам русским языком говорю: я вчера в этом магазине не был!

Роза с завотделом смотрели на него, молчали.

— А вы начинаете тут!.. Да еще этот разговорчик — стоят, вроде им все понятно, А я и в магазине-то не был!

Между тем сзади образовалась уже очередь. И стали раздаваться голоса:

— Да хватит там: был, не был!

— Отпускайте!

— Но как же так? — повернулся Сашка к очереди. — Я вчера и в магазине-то не был, а они мне какой-то скандал приписывают! Вы-то что?!

Тут выступил один пожилой, в плаще.

— Хватит! Не был он в магазине?! Вас тут каждый вечер — не пробьешься. Соображают стоят. Раз говорят, значит, был.

— Что вы, они вечерами никуда не ходют! — заговорили в очереди.

— Они газеты читают.

— Стоит — возмущается! Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то.

— Да вы что? — попытался было еще сказать Сашка, но понял, что — бесполезно. Глупо. Эту стенку из людей ему не пройти.

— Работайте,— сказали Розе из очереди. — Работайте спокойно, не обращайте внимания на всяких тут...

Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последнее:

— Водка начинает продаваться в десять часов! Рано пришел.

Сашка вышел на улицу, остановился, закурил.

— Какие дяди похие, — сказала Маша.

— Да, дяди, тети... — пробормотал Сашка. — Мгм... — Он думал, что бы сделать? Как поступить? Оставлять все в таком положении он не хотел. Не мог просто. Его опять трясло. Прямо трясун какой-то!

Он решил дождаться этого, в плаще. Поговорить. Как же так? С какой стати он выскочил таким подхалимом? Что за манера? Что за странное желание угодить — продавцу, чиновнику, хамоватому бюрократу?! Угодить, во что бы то ни стало! Ведь мы сами расплодили хамов, сами! Никто же нам их не завез, не забросил на парашютах. Сами! Давайте разберемся, в конце

концов. Пора же им и укорот делать. Они же уже меры не знают...

Так, примерно, думал Сашка. И тут вышел этот, в плаще.

— Слушайте, — двинулся к нему Сашка, — хочу поговорить с вами...

Плащ остановился, недобро уставился на Сашку:

— О чем нам говорить?

— Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я, правда, не был вчера в магазине...

— Иди проспись стерва! Понял? Он будет еще останавливать... «Поговорить». Я те поговорю! Поговоришь у меня — в другом месте!

— Ты что, взбесился?

— Это ты у меня взбесишься! Счас ты у меня взбесишься, счас... Я те поговорю, подворотня чертова!

Плащ прошуршал опять в магазин — к телефону, как понял Сашка.

Заговор какой-то! Сашка даже слегка успокоился. И решил не ждать милиции. Ну ее... Был бы один, может, и дождался бы — интересно даже: чем бы все это кончилось?

Они пошли с Машей домой. Дорогой Сашка все изумлялся про себя, все не мог никак понять: что такое творится с людьми?

Девочка опять залопотала на своем смешном языке. Сашку вдруг изумило то, что она, крохотуля, почему-то смолкала, когда он объяснялся с дядями и тетями, а начинала говорить после того, и говорила, что дяди и тети — «похие», потому что нехорошо говорят с папой. Сашка взял девочку на руки, прижал к груди. Чего-то вдруг аж слеза навернулась.

— Кроха ты моя... Неужели ты все понимаешь?

Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине... Но тут же и расхотелось.

— А что, что случилось-то?

— Да ладно, ну их. Нахамили, и все. Что — редкость диковинная?

Но зато он задумался о том человеке, в плаще. Ведь — мужик, долго жил... И что осталось от мужика: трусливый подхалим, сразу бежать к телефону — милицию звать. Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать — никогда, нигде, никак — нехорошо, что сразу — надо и не надо — бежать жаловаться в милицию — тоже нехорошо, скверно. Но как же уж так надо прожить, чтобы не догадываться о таких вещах? А, правда, как он жил? Что делал? Сашка часто видел этого человека, он из девятиэтажной башни напротив... Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры, его, наверно, знают...

«Схожу! — решил Сашка, — поговорю с человеком. Объясняю, что правда же, эта дура обозналась — не был он вчера в магазине, что зря он так — не разобравшись, полез вступаться... Вообще, поговорю. Может, он одинокий какой».

— Пойду сигарет возьму, — сказал жене Сашка.

— Ты только из магазина!

— Забыл.

— Посмотри, может, мясо ничего? Если плохое, не бери — для ребятишек. Не могу ничего придумать. Надоела эта каша. Посмотри, может, чего увидишь.

— Ладно.

...Один парнишка узнал по описанию.

— Из тридцать шестой, Чукалов.

— Он один живет?

— Почему? Там бабка тоже живет. А что?

— Ничего, мне надо к нему.

Дверь открыл сам хозяин — тот самый человек, кого и надо было Сашке.

— Не пугайтесь, пожалуйста, — сразу заговорил Сашка, — я хочу объяснить вам...

— Игорь! — громко позвал Чукалов. Он не испугался, нет, он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя — уперся темными, слепка выпуклыми глазами, и был явно доволен. Ждал.

— Я хочу объяснить...

— Счас объяснишь. Игорек!

— Что там? — спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил.

Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился... Чукалов — то ли решил, что Сашка хочет уйти? — вдруг цепко, неожиданно сильной рукой схватил его за рукав. И темные глаза его близко полыхнули злостью и скорой, радостно-скорой расправой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтоб высвободить кожу, которую Чукалов больно защемил с рукавом.

— Игорь!

— Что? — Вышел Игорь, наверно, сын, тоже с темными, чуть влажными глазами, здоровый, разгоряченный завтраком.

— Вот этот человек нахамил мне в магазине... Хотел избить. — Чукалов все держал Сашку за рукав.

Игорь уставился на Сашку.

— Да вы пустите меня, я же не убегу, — попросил Сашка. И улыбнулся. — Я ж сам пришел.

— Пусти его, — велел Игорь. И вопросительно, пытливо, оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку.

Чукалов отпустил Сашкин рукав.

— Понимаете, в чем дело, — как можно спокойнее, интеллигентнее заговорил Сашка, потирая руку. — Нахамили-то мне, а ваш отец...

— А мой отец подвернулся под руку. Так?

— Да почему?

— Специально дожидался меня у магазина... — подсказал старый Чукалов.

— Мне было интересно узнать, почему вы... подхалимничаете?

Дальше Сашка двигался рывками, быстро. Игорь сгреб его за грудки — этого Сашка никак не ждал от него — пару раз пристукнул головой об дверь, потом открыл дверь, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах — схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь.

Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось очень скоро. И так же скоро, ясно заработала голова. Какое-то короткое время постоял он на лестнице... И быстро пошел вниз, побежал. В прихожке у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить — если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти... Если откроет Игорь, еще лучше — проще. Вот, довозмущался! Теперь бегай — унимай душу. Раньше бы ушел из магазина, ничего бы и не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор: иначе он успеет толкнуть дверь оттуда и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня.

Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел: по двору, из магазина, летит его Вера, жена, — простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги: он решил, что что-то случилось с детьми, — с Машей или с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть... Остановился. Вера сама увидела его, подбежала.

— Ты что? — спросила она заполошно.

— Что?

— Ты опять захотел?! Тебе опять неймется?! Чего ты затеваешь, с кем поругался?

— Ты чего?

— Какие дяди? С кем ты опять драку затеваешь? Мне Маша сказала, какие-то дяди. Какие дяди? Ты откуда идешь-то? Чего ты такой весь?

— Какой?

— Не притворяйся, Сашка, не притворяйся — я тебя знаю. Опять на тебе лица нету. Что случилось-то? С кем поругался?

— Да ни с кем я не ругался!..

— Не ври! Ты сказал, в магазин пойдешь... Где ты был?

Сашка молчал. Теперь, пожалуй, ничего не выйдет. Он долго стоял, смотрел вниз — ждал: пройдет само собой то, что вскипело в груди, или надо — через все — проломиться с молотком к Игорю?..

— Сашка, милый, пойдем домой, пойдем домой, ради бога, — взмолилась Вера, видно чутьем угадавшая, что творится в душе мужа. — Пойдем домой, там малышки ждут... Я их одних бросила. Плюнь, не заводись, не надо. Сашенька, родной ты мой, ты о нас-то подумай. — Вера взяла мужа за руку. — Неужели тебе нас-то не жалко?

У Саши навернулись на глаза слезы... Он нахмурился. Сердито кашлянул. Достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил.

— Вон руки-то ходуном ходют. Пойдем.

Сашка легким движением высвободил руку... И покорно пошел домой.

— Эх-х... Трясуны мы, трясуны!

СВОЯК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

К Андрею Кочуганову приехали гости: женина сестра с мужем. Сестру жены зовут Роза, мужа ее — Сергеем; Сергей Сергеевич, так он представился, смуглый, курносый, с круглыми, бутылочного цвета глазами.

Сестры всплакнули на радостях и поскорей ушли в горницу и унесли туда чемоданы.

— Ну, теперь полдня будут тряпки разглядывать, — сказал Сергей Сергеич снисходительно, но не без гордости — тряпок было много. С таким видом вытаскивают, будучи в отпуске дома, молодые лейтенанты червонцы из кармана. Но тех извиняет молодость, этот — сорокалетний — гордился со смаком.

Свояки закурили.



— На сколь? — спросил Андрей.

— У нас отпуск большой, мы же — льготники. — И опять гордость, высокомерие. Живого места нет на человеке — весь, как лоскутное одеяло, и каждый лоскут — кричит и хвалится. — На особом положении.

— На каком таком особом?

— В смысле зарплаты и отпуска.

— Что, очень большая зарплата?

Свояк Сергей Сергеевич посмеялся неведению Андрея.

— У меня, например, выходит до четырехсот.

Свояк Андрей удивился:

— Ого-го!

— Сколько у вас тут профессор получает?

— Где?

— Ну, здесь, на Большой земле.

— А я откуда знаю сколько.

— Самый высокооплачиваемый профессор получает пятьсот рублей. Максимум.

— Ну. И что?

— А я пять классов кончил, шестой коридор... — Свояк Сергей Сергеич опять посмеялся. — Вот так и живем.

— Значит, хорошо. Это хорошо.

— Не жалуемся. Тут отдохнуть-то хоть можно?

Андрей пожал плечами.

— Так... а чего, поди? Отдохнуть, по-моему, везде можно.

— Не скажи. Я говорил своей: поедем в Ялту! Нет, говорит, домой охота. Ну, поедем домой, если такой нетерпеж. Я, как правило, в Ялте отдыхаю. Не люблю в этих деревнях: в магазине ничего нет... Сейчас по дороге зашел в ваш магазин: «Дайте, говорю, шампанского». Она на меня — как баран на новые ворота: «Какого шаньпанскыва?» — «Ну, обыкновенного, говорю: сухого, полусухого, сладкого, полусладкого... Какое у

вас есть?» — «Никакого». Вина хорошего и то нет. Одна сивуха.

Андрей поднялся.

— Пойду дровишек поколю. Банешку-то надо, наверно, протопить?

— Баню — это хорошо. У вас по-черному?

— По-черному.

— Вот это хорошо! Некоторые удивляются: ты любишь по-черному? А я люблю. Хорошо, дымком пахнет. Воды только натаскай побольше.

Андрей вышел на двор.

Вскоре вышла жена Соня.

— Ох и навезли! — заговорила она восторженно и с каким-то святым благоговением. — Мне два платка вот таких — цветастые, с тистями, платье атласное, две скатерки, тоже с тистями...

— Ты вот чего... С тистями... Воду надо таскать, — заметил Андрей. — Свояк любит, чтоб воды было навалом.

— Господи, да я для них!.. И ты, Андрей, уж постарайся. Да повеселей будь, а то ходишь, как этот... бурелом какой-то. Подумают, что мы — не рады. А я без ума радешенька. Ох, шали!.. Во сне таких сроду не видывала. Живут же люди!

Мылись в бане уже затемно.

Свояк Сергей Сергеич парился отменно, тазами лил на себя воду, стонал блаженно... Андрея поразило обилие наколок на его сухопаром теле.

— Тянул! — весело сообщил Сергей Сергеич, когда Андрей спросил о наколках. — Четыре года... По молодости. Брат в сельпо работал, везли товар в лавку... Ху! Кха!.. Я в одном месте запрыгнул в машину, сбросил два тюка крепдешина — попались. Ну-ка, поддай ковшичек.

Андрей поддал. Сергей Сергеич опять неистово начал хлестаться, опять закряхтел, застонал...

— Ну, и как?

— А?

— С крепдешином-то?

— Я ж говорю: попались. Вломили: мне четыре, брату семь... Не посмотрели на его ордена. У него орденов двенадцать штук было. С медалями.

— А брата-то за что?

— Так он же научил-то! Меня на первом же допросе раскололи. Но он, правда, не досидел, пять лет только — под амнистию попал. Ну-ка кинь еще! Сразу два!

— Тебе ничего, плохо не будет?

— Ерунда! Давай.

Каменка зло фыркнула, крутой, яростный пар клубом ударил в потолок, оттуда кинулся вниз... Андрей присел на корточки. Свояк мучился на полке, извивался, мелькало в полутьме его смуглое расписное тело. Наконец он свалился оттуда и выполз в предбанник отдышаться.

Андрей на минуту влез на полок, постегал маленько ноги, поясницу — не любитель был париться. Тоже слез на пол.

— Иди покурим, — позвал Сергей Сергеич.

Закурили в прохладном предбаннике. Свояк — опять за свое:

— Ну, а как, например, можно отдохнуть?

— Ну, елки зеленые! — изумился Андрей. — Ну, лежи, плюй в потолок... Кино привозят. Рыбачь ходи... «Как отдохнуть...»

— Рыбешка есть в реке?

— Мало. Ребята вверх заплывают, там вроде получше.

— А лодка есть?

— Есть. Только без мотора.

— Почему? Моторов нету?

— Моторы-то есть — вон, бери в магазине... Грошей нет.

— А у меня «ИЖ»: в субботу часика в четыре утра выеду, как дам по тракту сотенку в час!.. Зверь! Мы на озера ездим рыбачить.

— Добываете?

— Ну, чтобы зря не трепаться: по полмешка привожу. Розка не знает, куда девать. И жарит, и солит, и уха идет... Но в основном огород удобряем.

— Во?! — удивился Андрей.

— Да. Я лук репчатый уважаю, у меня теплица есть, я туда — толченой рыбы... Знаешь, какой лук растет! Ни у кого в поселке такого лука нет. Вот такой вот!.. Аж сладкий, гад. А счас на очередь на «Волгу» стал. Советовали «Фиат» подождать, но я думаю, они с этим «Фиатом» еще лет пять провозятся, а я за это время «Волгу» получу. Кха. Нешто еще разок слазить? Пойду — шваркнусь...

Потом мылись женщины.

А мужчины в это время сидели за бутылкой «калгановой», и... поругались. Свояк начал опять хвастаться, как у него складно все получается в жизни... И вдруг стал упрекать Андрея в неумении жить.

— И телевизора даже нету?

— Нету.

— Ну-у, слушай, ты уж совсем какой-то малохольный мужик. Неужели уж телевизор нельзя купить?

Андрей обиделся.

— Не все же профессорское жалованье получают...

— Но телевизор-то можно купить!

— Да на кой он мне... нужен-то? И «Фиат» тоже не нужен. Понял? А если ты мне всякие замечания будешь делать, то я иначе могу поговорить...

— Как?

— Так. Узнаешь.

— Нет, как? Мм?

— Перелобаню разок, и все.

— Да?

— А чего ты?.. Приехал, понимаешь, только и слышно: это нехорошо, то не нравится!.. Я тебя не звал сюда. А приехал, — значит, помалкивай. И будь человеком.

— Значит, ты предлагаешь так: даже если я увижу недостаток, все равно я должен говорить, что это хорошо? Да?

— Я виноват, что в лавке нет шампанского? Для чего оно здесь, шампанское-то? У нас его сроду никто не пьет.

— Я тебе не про шампанское, а про телевизор замечание сделал. Я могу и «калгановой» выпить.

— А у тебя, например, комбайн есть?

— Какой комбайн?

— Обыкновенный, которым жнут.

— Зачем он мне?

— Вот так же и мне телевизор не нужен, как тебе комбайн. Но я же не делаю тебе замечание, что у тебя комбайна нет...

— Но телевизор-то — это же первая необходимость! У тя же сын растет: вместо того чтобы огороды шерстить по вечерам, он будет телевизор смотреть.

Андрей помолчал.

— Вон у меня лук репчатый есть — целые вязанки висят... Хочешь?

— Нет, ты все-таки малахольный. Не обижайся, конечно...

Андрей долго смотрел, не мигая, на свояка.

— Еще раз обзовешь... вот видал? — сразу между глаз закатаю.

— Да? — Свояк оживился. — А ты знаешь, что моя правая срабатывает еще до того, как я успею сообразить. Вот видишь — нос? — Он нажал пальцем на свою кнопку. — Сломан... Отчим сломал. Ты знаешь, как мы его с братом катали, когда подросли? Как хотели... Бывало, подойду, о так от — рраз!.. — Сергей Сер-

геич хотел показать, куда он бил отчима, потянулся, но неожиданно сработала правая Андрея — свояк слетел со стула и громко заматерился.

— Я ж те показать хотел! От паразит-то, в душу тя, в печень, понимаешь!.. В рот пароход! — Свояк сидел на полу, тер лоб ладонью, а другой махал в воздухе, объяснял: — Я ж те хотел показать, а ты думал...

— Два молодых оглоеда — на старого человека, — сказал Андрей. Ему стало совестно, что поторопился: он в самом деле решил, что свояк хочет его ударить, когда потянулся с кулаком. — И не стыдно?

— Ты же не знаешь, как он нас молотил! Ты же...

В это время в сенях стукнула дверь — свояк вскочил с пола и быстро-быстро заговорил:

— Андрюха!.. В рот пароход! Молчи! Мы — сидим, пьем «калгановую»... Ничего не было! Понял? А то я горю, понял? Она мне, сука, устроит отдых... Лады? Мы — сидим, мирно пьем «калгановую». — Свояк быстренько набулькал две рюмки, сел за стол.

Когда сестры вошли в избу, свояки чокались.

— А-а! — закричал Сергей Сергеич. — С легким паром!

— Ты, я смотрю, уже полегчал? — миролюбиво заметила Роза. — Ничего?

— Все в порядке, все в порядке, — поспешил Сергей Сергеич. — Спроси свояка.

— Все в порядке, — подтвердил Андрей.

— Чего нас-то не ждете, — упрекнула Соня. Но так — проформы ради упрекнула: у женщин было преотличное настроение.

Скоро все четверо дружно пели за столом. Запевал свояк тонким, дрожащим голосом... И при этом закрывал глаза и мелко тряс головой.

Я знаю, меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь...

Все подхватывали:

Встречать ты меня не придешь,
А если придешь, не узнаешь.
Ох, встречать ты меня не приде-ешь...

Андрей не знал слов и поджидал, когда разок споют свояк и Роза, а потом уж со всеми вместе грустно гудел. Ему очень нравилась песня, и он в душе очень жалел, что ударил свояка.

А на другой день свояк выкинул шутку, которую Андрей не понял до конца, не понял — зачем?

Андрей возвращался вечером с работы... Свояк ждал его у ворот на скамеечке. Увидев Андрея, он встал, сунул руки в карманы брюк и очень самонадеянно опять прищурился. Спросил:

— Ну что, малохольный?.. Отработал?

Андрей ушам своим не поверил.

— Ты опять? — с угрозой протянул Андрей.

— Следуйте за мной, гражданин! — И свояк пошел, не оглядываясь, к сараю.

— Чего ты? — не двигался с места Андрей.

— Иди, кому говорят! — прикрикнул свояк. — Действительно, малохольный.

Андрей оглянулся — никого в ограде нет. Он пошел к свояку. Вид его не обещал ничего хорошего. Свояк распахнул дверь сарая... А там, на плахе, маслено поблескивая смазкой, лежал... лодочный мотор. Новенький, только из сельмага. Свояк пнул его носком ботинка.

— Бери, ставь на лодку.

— Как?..

— Говори «спасибо» и уноси, пока я не раздумал. Понял? Дарю.

— Как же так? — все не мог понять Андрей.

Свояк засмеялся, довольный.

— Вот так... Чего рот разинул? От малохольный-то... Бери — твой!

— Он же дорого стоит, — сказал Андрей. — Куда к черту...

Сергей Сергеич подошел к Андрею, больно — со злинкой — похлопал его по щеке.

— Бери... Я их те таких десяток могу купить. Помни Серьгу Неверова! Пошли.

Когда Андрей переступил порожек сарая, свояк Сергей Сергеич вдруг запрыгнул ему на спину и закричал весело:

— Ну-ка — вмах!.. До крыльца.

— Брось!.. — Андрей передернул плечами. — Ну?

Свояк сидел крепко.

— Ну, до крыльца! Ну? — Сергей Сергеич от нетерпения пришпорил в бока Андрею. — Ну!.. Шутейно же. Гоп! Гоп!.. Аллюром! Что, трудно, что ли?

Проклятый мотор! Черт его подсунул, не иначе. Стерва металлическая... Андрей у крыльца чуть не сбросил свояка через голову, чуть не зашиб его об ступеньки, потому что тот, когда скакали, еще и орал:

— Еге-ей! Скакал казак через долину!.. Гоп! Гоп!..

К счастью, никто не вышел из дома, и с улицы тоже не было видно, на ком это скачет гость Кочугановых «через долину».

Андрей пошел в дом, пинком расхлабыстнул дверь... Но на столе — увидел — стояла опять «калгановая», вкусно пахло жареным мясом... В избе было чистенько прибрано, мурлыкало радио, жена Соня, довольная сверх всякой меры, суетилась в кути... Да черт с ним, что прокатил на спине! Что, действительно, трудно, что ли? Зато теперь — с мотором, будь он проклят.

— Ну, как мотор-то? — спросила Соня.

— О так от!.. — выскочил вперед Сергей Сергеич.

— О так от уставился на него и смо-отрит. Умо-р а ! . . — Свояк и Соня засмеялись, довольные. — Я го-

ворю: бери скорей, пока не раздумал! А то ведь раздумаю!.. Ну, давай по рюмочке «калгановой» — с обновкой. Чего стоишь? Не очухался еще? — Свояк опять засмеялся. И пошел к столу. Он снова наладился на тот тон, с каким приехал вчера.

СОДЕРЖАНИЕ

Василий Макарович Шукшин

ХАРАКТЕРЫ

Рассказы

Редактор **В. Аксенов**
Художник **В. Алексеев**
Художественный редактор **Б. Мокин**
Технические редакторы **Н. Боярская**
и **А. Третьякова**
Корректор **А. Мелеткина**

Сдано в набор 31/VII — 1972 г. Подписано к печати 19/XII—1972 г. А09116. Формат бумаги 70Х108 1/32. Бумага тип. № 1. Печ. л. 7. Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд. л. 9,63. Тираж 30 000 экз. Заказ № 7386. Цена 50 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4.

г. Рязань, ул. Новая, 69.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас свои отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»